



Тамара БУЛЕВИЧ

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Повести

Москва 2007

ББК 84 Р7 (Рос.-Рус.)
УДК 882
Б-95

Тамара БУЛЕВИЧ. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. Повести.
М., «Московский Парнас», 2008, 240 с.

Уже дебют Тамары БУЛЕВИЧ в «Московском Парнасе» с повестью «Фрося-Ефросинья» принес ей звание лауреата по итогам 2007 года в номинации — проза. Тёплая, искренняя, взволнованная манера письма, земные, достоверные характеры, которых так недостает сегодняшней истеричной, взбалмошной, бездушной прозе, пришлись по сердцу нашим читателям и вызвали обильную почту.

Потому логично, что короткие повести красноярской писательницы составили томик «Библиотеки «Московского Парнаса».

ISBN 978-5-7330-05-479

© Булевич Т.А.
© Квасникова О.
Рисунки.

ДЕД ИГНАТ



Напряженный жаркий день иссушил, измучил. Путевые рабочие едва держались на ногах, угрюмо, в полном молчании собирая в брезентовые мешки инструменты и поджидая электричку, которая избавит, наконец-то, от адского труда в глинистой пыли, от мошки, не дающей открыть рта, от неистребимого комарья.

Игнат Демин припозднился. Его бригада завершала намеченный по станции Снежница текущий ремонт и отсыпку полотна. Завтра сам начальник дорожной службы пути Ефремов будет на приемке. Но Игнат был спокоен: все сделано на совесть. Мужики не подвели, как бывало в первые годы их совместной работы.

От похвал бригадир воздержался: «Завтрашний день покажет, что наработали».

Похоже, приближалась гроза. Во второй декаде августа погода обязательно портилась, это и к бабке не ходи. Ненастье дня на три выбивало из графика. Только тайга радовалась дождю, упиваясь изобильной, еще полетнему теплой, живительной водичкой, пополняя подземные запасы и набираясь жизненных сил, чтобы весной вытолкнуть к свету новую поросль.

Игнат гнилой поры не выносил. Она совпала с подготовкой закрепленного за брига-

дой участка к зиме, безжалостно актируя золотое время проливными, не прекращающимися сутками дождями.

«Потом попробуй, наверстай! Руки и спины у людей не железные», — сокрушался он, заранее зная, что последующие дни будут авральными, нервными до глубоких сумерек.

Прошло семь весен, как Игнат купил дом в Снежнице. Купил для собственного удобства: работа рядом, не нужно тратить бесценные часы на электрички. Но главной причиной всё же послужило то обстоятельство, что здесь о прошлой жизни Игната никто не знал, и легче было начинать жить с чистого листа. Хотя и в родном Минино, его узнала только товарка тещи.

Придя домой, он первым делом занес в сени горшки с геранью, которую и так немало потрепал усиливающийся ветер. Обычно герань, лаская взгляд хозяина, рядами стояла на специально сбитом для неё из тесаных листовенных досок подмостке. Она подковой окаймляла ухоженный рубленый дом, тревожа и радуя бело-розовым буйством шаровидных соцветий. Тихими зоревыми вечерами подолгу любовался Игнат ими, находя душе отраду и успокоение.

Второй дом он обустроил в полном соответствии с родовым, Деминским. При живых родителях на широких, белых подоконниках от весны до зимы цвела — полыхала герань. Ма-

ма Люба пользовала её округлые короновидные, иногда окаймленные бурым кольцом листья при зубной боли. Всегда клала их приправой к дичи и к телятине.

Игнат спустился вниз огорода, где пушистыми зелеными веточками, как крылышками, взмахивали недавно высаженные им, но уже бойко ухватившиеся за дерновую, исконную землю кедрята. На этот «детсад» наткнулся случайно у платформы Рябиново, во время обеденного перерыва, поднявшись на таежный взгорок. Среди вековых в три обхвата сосен и пихт давно прижилось и кедровое семейство. В густом смолянистом дурмане над головой Игната распластались опахалом лапы кедров, еще не старых, щедро увешанных зреющими зеленовато-бурыми шишками.

«Надо в сентябре прийти сюда, пошишковать», — подумал тогда Игнат и уже направился к пологому откосу, чтобы спуститься вниз к бригаде, когда на открытом всем ветрам месте обнаружил с десятков годовалых кедрят. «Вот куда вас занесло! Тут, с северной-то стороны, вам не выжить».

Спустившись к мужикам, попросил помочь выкопать и доставить кедровый выводок — малолетнее чудо — в его огород. Всех до единого. Городские мужики удивлялись его нескрываемой радости спасителя.

— Живешь в тайге и тайгу на огороде производишь. Зачем тебе это?

Игнат добродушно улыбался, отшучивался:

— Ленив стал далеко в кедровники ходить. Старею. Глядишь, доживу до их зрелости. Орешек соберу и вас угощу. Кедровые в людской заботе и ласке быстрее обычного растут...

Мужики недоуменно пожимали плечами.

К ночи непогода черной мглой нависла над горами, тайгой и поселком. Небо напоминало крутящийся калейдоскоп с мрачными, не предвещающими ничего хорошего картинками. Вдруг оно вскипело и порвалось на мелкие сизые лоскутки, которые неистово металась от горизонта к зениту и обратно, уплотняясь в многослойный на полнеба пирог. И в то же мгновение отягощенный, почерневший изнутри, пирог взорвался, клокоча и распадаясь на светящиеся огненными разрядами тяжелые тучи. Одна за другой, они падали вниз, образуя над землей свинцовое, мечущееся в разные стороны воздушное месиво. Казалось, вот-вот небо проткнется очередным копьём молнии, разверзнется спасительными водами, и сразу же снимется напряжение, яростное противостояние непримиримых небесных стихий.

Более месяца над Снежницей властвовал зной. И теперь небо, припомнив давно забытые земле-матушке обещания, решило помочь ей: залить изнуряющее и жгучее лето, заслонить собою от пышущего жаром солнца.

Игната беспокоило завалившееся весной дерево — сушняк, прозванное им ведуном. Оно повисло на сосне у забора, крепко зацепившись верхними сучьями, как крюками, за её мощные ветки. В безветренные дни дерево сохраняло полное безмолвие, но чуть всколыхнется порывом легкого ветерка сосна, и ведун начинал выводить свою грустную песню, напоминающую то скрип несмазанной двери, то рык зверя, то вскрик лопнувшей струны. Иногда, предупредительно вроде, четко выговаривало: «Не подходи!». Но чаще всего громко насвистывало разбойничьи напевы. А то вдруг тревожно вскрикивало незнакомым голосом испуганной птицы.

Игнат научился расшифровывать загадочную музыку ведуна, который точнее метеослужбы предсказывал направление ветра, погоду на предстоящий день. При работе на путях это очень помогало: он знал, откуда дует ветер, с какой стороны выставить сигнальщика, куда лучше высыпать щебенку, чтобы меньше мужикам глотать известняка.

Сейчас же Игнат вслушивался в громкий плач и воюющие, протяжные всхлипывания ведуна, что-то прикидывал, высчитывал в уме, явно боясь за кедрят: свалится мертвое дерево на них, заломает, подомнет. Но одному ему было сложно что либо предпринять.

«Все недосуг безголовому сушняк распилить на чурки под опята! Загублю кедрят!». И, едва не падая под тяжестью, волоком при-

тянул из сарая поочередно три списанных двухметровых рельса. Прислонил их к забору. «Так-то надежнее. Примут удар на себя, если случаем ведун завалится».

Еще раз осмотрев огородное хозяйство и убедившись в его полной готовности выстоять надвигающуюся бурю, он медленно, прихрамывая, направился в дом.

Не включая света, не ужиная, прошел в душевую. Там долго фыркал, постанывал от удовольствия и плескался в ниспадающем потоке прохладных бодрящих струй. После часового купания, завернувшись в цветастую льняную простыню, лег в кровать.

Несмотря на усталость, Игнат долго не мог заснуть. Со своей привычкой, едва коснувшись подушки, и до первых рассветных всполохов утопать в морфеевых объятиях, он расстался, когда перевалило за пятьдесят. Бывало, бессонными ночами успевал прожить не одну жизнь, всякий раз перекраивая их по-новому и снова не удовлетворяясь ими. Ничего не менял только в солнечном детстве. Там всё устраивало. Это было счастливое, безоблачное мгновение его жизни с живыми родителями, ночевками со старшими ребятами у таёжных костров на берегу горной речушки Минки, пробуждением под ласковыми щеко-таниями зари, тихим и безмолвным подъёмом, чтобы — не дай Бог! — не вспугнуть, не насторожить хитроумных, чернобоких хариусов.

Мальчишкой любил подолгу глядеть на далёкие мерцающие звезды, следить за облаками и в грозу, надёжно спрятавшись от дождя под непромокаемыми лапами пихты, наблюдать за столкновением туч и рождением молний. В селе знали, что их Игнат, когда вырастет, обязательно станет лётчиком.

Но грянула война. Мечты в одночасье рухнули.

Большая семья Григория Дёмина жила в старом просторном пятистенке, доставшемся по наследству от деда Сёмена. С южной стороны его, в сторону речки и леса, тремя террасами спускался обширный огород.

Лучи восходящего солнца ласкали высокое крыльцо с резными и точеными перилами да мощеную камнем дорожку, упирающуюся в литую из чугуна калитку. Она разделяла подворье на две половины.

На его чистой стороне, как звал дед, в пяти метрах от ворот, размещалась отцова кузня. До войны он выполнял мелкие заказы для нужд станции и селян. Старая, замшелая пихтушка, распластавшая нижние ветки по земле, отделяла кузню от бани. А сразу за той, до самого забора, метров на сто, тянулась некопаная, исконная земля, на которой просторно кудрявились три щедро плодящих кедра, помнившие тепло рук и прапрадеда Порфирия. За ними бойко нарастали разновозрастные, шустрые кедрята. А вперемешку с ними росли сибирские, необыкновенной красоты

березы, своими тонкими, белоснежными стволами и кружевной кроной уносящиеся в поднебесье.

На другой половине усадьбы в сараях содержался домашний скот и птица. Расписным теремком возвышался амбар для муки и зерна. А за ним в ряд — сеновал с конюшней для двух лошадей. Здесь же под высоким навесом стояли рабочие сани и для деловых выездов бричка, украшенная литьём и витой кожей.

Этот отчий уголок Игнат Демин свято пронесет в памяти сердца по всей жизни, мысленно прикасаясь к нему, своему истоку, набираясь ума и сил.

Война забрала у Игната старших братьев, Алексея и Антона, сестру Марию, которых он почти не помнил и узнавал только по фотографиям на стенах. Они белозубо улыбались, присматривали за ним, когда он, еще дошкольник, оставался дома один.

Отец вернулся с войны большой, с открытой, незаживающей раной на груди. В бане маленький Игнат видел, как у отца из раны струйкой по животу стекала кровь. Мама Люба, хорошо знавшая таежные лечебные травы, ничем помочь не смогла, а в городскую больницу на лечение и перевязки он съездил всего три раза. «Что бестолку-то мотаться туды-сюды! Откуда деньги брать?».

Григория не стало в канун лета, когда Игнат перешел в шестой класс. Люба тяжело пе-

режила его смерть, обессилила, и, словно вырванный с корнем цветок, сникла.

Так черным крылом смерти война достала и её, казалось бы, в далёком сибирском тылу. Потеряв троих детей, мужа, она уже не находила в себе силы жить. Тоска и горе душили её.

— Виновата перед тобой, Игнатушка, сынок мой любимый, ох, виновата! Зачем было рожать, чтобы потом обречь кровинку свою на горькую сиротскую долю?! А что не жилица я, так не жилица. Сердцем чую, долго не протяну.

Игнат в это время растирал аптечной настойкой её постоянно остывающие ноги. Ему очень хотелось, чтобы мать осилила болезнь, поскорее поздоровела. Он жалел её и не допускал мысли, что она может оставить его...

— Мама, ты обязательно поправишься! Поправишься! Поешь-ка, поешь...

Не раз, искренне, с мальчишеской горячностью и верой произносил Игнат эти слова, считая их самым лучшим лекарством.

Но иногда и сам, видя её состояние, начинал плакать навзрыд, скуля и завывая. Совсем как щенок. По вечерам пытался что-то сочинять для неё, на его взгляд, очень смешное. Фантазировал, мечтал, как выучится на летчика и обязательно прокатит мамулю с ветерком по синему небосклону, чтобы у неё от радости и страха дух захватывало!

Бывало, по ночам мать плакала и не могла заснуть. Тогда Игнат придумывал одну за другой смешные мальчишеские небылицы. Он сделал бы для мамы все невозможное, только бы утихли её боли и она заулыбалась, как прежде.

— Разве мы одни осиротели?! Нам в школе сказали, что тридцать мининских мужиков осталось в живых, а уходило на войну сто двадцать два. Если из-за фашистов в могилы все хорошие люди лягут, не слишком ли жирно будет фрицам?! Так одни нелюди и останутся на земле. Зачем тогда было с ними воевать братьям и папке? Они же победили! И ты победи!

Как мог, взывал сын к матери, возвращал её к жизни. Но не смирившееся с утратами и вдовьей участью Любино сердце продолжало страдать и рваться. Она чахла, медленно умирая и давая Игнату один наказ за другим.

Вскоре Игнат остался круглым сиротой, один — одинешенек, без пригляда и опоры. От детдома наотрез отказался. И в этом его поддержали сельсовет, школа, соседи: парнишка охотно учился, при больной матери сам хозяйничал по дому, не баловал.

В четырнадцать лет Игнат обогнал ростом всех станционных сверстников и выглядел вполне взрослым. Селяне говорили: «В отца-богатыря уродился».

Окончив семь классов, он поступил, вместо Омского лётного военного училища, в железнодорожный техникум. «А на кого дом-то отцов бросишь?!».

Сын исполнил материнский наказ. Этот-то исполнил, но если бы все так...

К полуночи над Снежницей поднялся сильный ветер. В неистовом буйстве столкнулись вечные соперники — ветер и вода. Их нешуточная схватка за властное обладание красавицей Землей с переменным перевесом сил затянулась до утра. Мощные, ревущие и стонущие порывы саянца, казалось, отрывали и поднимали вверх тяжёлый Игнатов дом. Он отчаянно скрипел углами, дверными навесами, стучал, бил в набат скобами и штырями просмолённых ставен. Неистово грохотала задвижками печная труба, протяжно завывал камин.

Но уже спустя мгновение, ветер внезапно затихал, и было слышно, как свирепо и неистово обрушивались на землю ливневые воды с небес, грозя смыть с неё всё живое и неживое и утопить в грязевом потоке.

Игнат беспрестанно взбивал подушку, будто она была виновницей его бессонницы. Даже думать ни о чем не мог. Ворочался с боку на бок, томился, вслушивался в грохочущую над его головой грозовую бурю, ожидая чего-то ещё более страшного и непоправимого.

И только предрассветное светлеющее небо утихомирило её.

Игнат открыл ставни, распахнул окна. Дом наполнился свежестью и ароматами отмытого до иголки бора, подпирающего поднебесье мощными верхушками хвояков.

Предзорева дымчато-лиловая тишина повисла над тайгой.

Наспех набросив на плечи казённый брезентовый плащ, Игнат прытко помчался в огород. На нижних лапах пихты, красующейся среди картошки, нахохлившись, сушил пёрышки летний выводок из четырёх мородунок, по-местному — куведренников. Обычно вёрткие, живые, доверчивые и любопытные, сегодня при приближении Игната они после тяжёлой ночи и голоса не подали. Их мокрые буровато-серые с тёмными пестринами одежды слиплись в комок. Белые брюшки почернели. Видимо, держались бедолаги коготками за землю у самого у ствола, чтобы не быть унесёнными бешеной ночной бурей. Родителей с ними рядом не было. Но вскоре послышалось их далёкое «куведрюю — куведрюю».

«Не пройдёт и месяца, как кулики помажут мне крылышками до следующей весны», — подумал Игнат и заспешил к кедрятам.

Те издали весело подмигивали ему брильянтовыми капельками затаившегося на их длинных хвоинках дождя. «Слава Богу! Живы мои пострелята!».

Бессонное настроение мигом улетучилось, а тело наполнилось прежней упругостью, здоровым желанием незамедлительно насытиться нехитрой деревенской едой.

И последующие события дня сложились для Демина удачно. Можно сказать, заладились. Начальство похвалило бригаду за добротный, профессиональный ремонт, пообещало выдать премию и предоставить отгулы. За лето их у «деминцев» накопилось более двух недель.

Игнат после отъезда комиссии продолжал, сам не зная, отчего, улыбаться. Душа чему-то тихо радовалась. Хвалил мужиков за толковую, в «один кулак» работу, что делал крайне редко.

Вечером затеял уборку. Ценил порядок и, не ленясь, наводил, поддерживал его. Крашенных полов не любил. Раз в год шлифовал половицы, а потом мыл их до янтарной чистоты зольной водой. Они светились, дышали теплом и уютom. В обуви по ним не ходил и гостям велел разуваться в сенях.

Он домывал последнюю ступеньку крыльца, когда стукнула щеколда калитки. На мощенной дорожке стояла почтальонка Нюся. «Чего её принесло-то?!».

Лицо Игната отразило раздраженность и досаду. Благодушный настрой вмиг улетучился.

— Доброго вечера, Игнат Григорьевич!

— Доброго, доброго...

Не очень-то приветливо отозвался он. Нюся робко приблизилась к крыльцу. Игнат, не торопясь, отжал половую тряпку и аккуратно повесил на крюк для просушки. Нюся протянула ему неопрятную руку, но он сделал вид, что не заметил её, и сухо спросил:

— С чем пожаловала, почта?

Нюся открыла подбитую с изнанки чертовой кожей холщевую, давно не стиранную сумку и прошуршала какими-то бумагами.

— Да куда она завалилась, проклятущая!

— Что потеряла-то?

Он вовсе не ожидал, что Нюся действительно принесла ему какое-то известие. Родных никого в живых не осталось, с друзьями по службе и бамовцами обменивался поздравительными открытками на День флота да под Новый год.

— Так зачем, спрашиваю, пришла?!

Возмущенно и громко, почти прокричал Игнат, подойдя к Нюсе вплотную и готовясь, как в прошлые разы, выставить её вон.

— Фу, Нюся! От тебя, как от бомжа, несёт денатуратом!

— А тебе-то что?! Святого из себя корчишь! Чем ты лучше меня?

— Твоя правда, Нюся! Были с тобой грязью одной канавы. Теперь между нами — разница. Я из неё не сразу, но все-таки выполз, выкарабкался. Отмывался и буду отмываться! А ты гляди, не утони по уши! Хотя, не мне судить тебя...

Игнат замолчал, и Нюся тут же гонористо, злобливо подхватила их невеселую беседу:

— И я об том же! Чай, не жена, не любовница, чтобы смел повышать на меня голос.

— Да не доведи Господи! Был же дурачиной! — отмежевался от неё крестом Игнат.

— Стало быть, помнишь, дружок милый, наше золотое времечко! Ты мной и пьяной не брезговал.

Игнат заскрипел зубами, лицо залилось краской:

— Кого помню, это не твоя печаль! Ты хоть при службе воздерживалась бы от спотыкача! Ненароком казенную сумку потеряешь или на бутылек махнёшься не глядя.

— Так чо воздерживаться-то? Вредны они, воздержания-то, от умных людей слыхивала. Да и вечер на дворе. Не в кабинете народ принимаю. На свежем воздухе себя прогуливаю. Вчерась, как дурочка, за тобой по селу гонялась! У дежурной на станции о твоём пребывании спрашивала.

— А что мне там делать?

— И домой два раза бегала. Закрыто. Больно нужно ходить потемну к лесу самому! Государство за мои труды копейки платит, на обувку не хватает. Эта уж изодралась до дыр. Как видишь, лодыря не гоняю. На двух станциях, в Минуно и Снежнице, два раза в неделю почту разношу. А улицы-то! Не асфальт городской.

И, помолчав, сменила гнев на милость. Её землистое, морщинистое лицо расплылось в пьяной улыбке:

— По старой любви к тебе мотаюсь, изменщик проклятый! Живёшь-то у лешего на рогах!

Она выложила на гераневый подмосток содержимое сумки и принялась нервно вытряхивать газеты, перебирать свертки и письма.

— Ты из меня слезу не дави, не выжмешь! А что до денег? На обувку ей не хватает! Брось пьянки-гулянки, поищи место поденежнее. Не на два дня в неделю.

Зная Нюсю, Игнат и рубля не дал бы ей из сочувствия или жалости: сей же час пропьёт с собутыльниками, а тем более не собирался объясняться по поводу задержек с работы.

— Вот еще одна дурочка с переулочка покуролесить с тобой хочет. Зовет приехать к ней. Слушай! Вот это да! Как же я раньше не допетрила? Это ж твоя любезная женушка отыскалась! Так по ней, горемычный, сох, что, исстрадавшись, со мной да еще с десятком сучек бездомных шашни водил, кобелина несусветный!

Зло и больно кусала Игната Нюся.

— Чего мелешь-то, чокнутая!

— А ничего!

Его уже начало трясти, предательски дергалось веко от общения с ненавистной женщиной.

— Дак вот же она, зараза! В пачку газет воткнулась! Срочная, с уведомлением! Не захочешь, да вручишь!

Игнат в нетерпении хотел выхватить телеграмму из грязных Нюсиных рук.

— Не хватай! Не баба! Прежде в журнале распишись, такая у нас формалистика, понимаешь ли.

Он поставил подпись напротив своей фамилии и стал читать, ничего толком не видя и не соображая.

— Ну, чо, Игнат Григорьевич, я пошла?

Замерла в ожидании благодарности Нюся.

— Иди, иди! Небось, заждались тебя дружки твои.

И, взяв под руки словно выросшую в землю Нюсю, выставил бывшую подружку за калитку. Потом спешно поднялся в дом, помыл с мылом руки, достал с книжной полки очки и хорошенько протёр их. Читал почти по буквам:

«Адрес: Станция Снежница Красноярского края.

Кому: Демину Игнату Григорьевичу.

Служебные отметки: Срочная! С уточнением улицы и дома проживания адресата».

А далее следовал текст: «Жду тебя по адресу город Новосибирск зпт улица Пролетарская зпт дом 9 зпт квартира 17 тчк О выезде дай телеграмму тчк Встретим тчк Демина Полина Егоровна».

В голове у Игната зашумело, как вешняя вода на порогах речки Минки, щеки зажгло пуще парной, а от стука сердца рубашка на груди — ходуном. «Так и Кондратий хватит!». И, взяв из шкафа недопитую с майских праздников бутылку водки, налил до краев граненый стакан, залпом выпил.

Давненько такого себе не позволял. В Снежнице пьяным его никто не видел. Хмелея, плакал и читал, вновь плакал и вновь читал напечатанные телеграфным аппаратом строчки, не веря глазам своим.

«Во, как крутит меня судьба-кручина! Кидает из омота в полымя, непутёвого.

Через год шестьдесят стукнет, а придётся еще, чую, по судам помотаться. «Встретим». Стало быть, понадобился моей Полине развод. Приспичило! А что! И ей, праведнице, в счастье, хоть на старости лет, пожить охота. Права Нюся. Подлюка я, подлюка! Настродалась со мной Полюшка, душа невинная. Стыда, грязи да людских пересудов нахлебалась досыта. С первого года замужества получала от меня добра ложки, а дерьма дрожки. Переживания Поли, слёзы её мимо совести пропускал. Да и была ли она во мне, совесть-то? У жены на виду мог флиртовать с такими вот Нюсями, Люсями. Забыл, гаденыш, материн наказ: «Подивись одним яблочком!» В святой смысл не вдумывался. Где там! Пришлось бы самому себе на хвост наступить. Вот и добе-

гался с пестиком по тычинкам: голубу свою потерял. Теперь, видать, навеки».

...**В** далёкие годы молодости, после службы на флоте, поработал brave да пригожий Игнат Дёмин еще и матросом на рыбном плавзаводе. Скопил немало денег и вернулся в родное Минино тузом козырным. Налюбоваться на себя не мог. Как же! Первый парень на селе. И пошло-поехало! Сколько девок попортил, доброе имя им замарал. Никак в толк не брал, что доведет его ухарская дорожка до срамного тупика. Так и случилось! Сельчане стали судачить об его «подвигах» и непристойном поведении.

— Что с парнем стряслось? Смирный да работающий был.

— Летчиком мечтал стать, нас подвигами прославить.

— А прославил чем?! Ох, кабы отец его увидел! Голу задницу при всем честном народе кнутищем исполосовал бы!

Но Игнат продолжал из одной бабьей постели в другую перелетать и долетался. Честь свою потерять — дело нехитрое, быстрое. Да вернуть её не скоро удастся.

Через год из завидного жениха в кутёжника превратился. О работе по железнодорожной профессии и надеяться не приходилось. Там люди строгих правил нужны. Две сберкнижки извёл на пустые забавы. Деньги, они — вода в дырявых руках. Меж пальцев быст-

ро утекло, и отцом нажитое, и свое, заработанное на море добро. Друзей да подружек по гульбищам сразу поубавилось: самому жить стало не на что.

Бывшие соседи, люди степенные, из уважения к памяти родителей приютили Игната в своем доме. Но и им скоро надоело по утрам двери ему отворять.

Как-то за завтраком хозяйка завела с ним разговор о женитьбе.

— Не обижайся, Игнат. Уж вдоволь вроде нагулялся, пришло время прибиться к одному причалу. Своим углом обзавестись, семьей. Не мальчик! И, если советом не побрезгуешь, приглядишься к внучатой племяннице мужа, Полине Неверовой. Девушка видная, ученая, ничем не балована. Работает фельдшером в медпункте, живет одна. Дом Поле достался по наследству от отцовой матери, бабушки Степаниды. Врачом хочет стать.

— А что за люди, Неверовы? — с легкой грустинкой в голосе поинтересовался Игнат.

В разговор вступил хозяин Михаил Иванович, двоюродный брат Егора Неверова.

— От века плотницких дел мастера. Дома строили — любо-дорого посмотреть, что изнутри, что снаружи. Картина маслом! Если не хочешь идти по своей путевой профессии, попросись к Егору в бригаду. При желании многому обучит. Умелые руки да усердие помогут тебе заработать хорошие деньги. Обзаведешься хозяйством, машину купишь.

Спрос на толковых плотников всегда велик, сам понимаешь. А то, как погляжу, за минувший год сбережения за отцов-то дом точно в пивном баре угрохал. Нехорошо это, нехорошо...

Михаил Иванович крякнул, покраснел до испарины и, промокнув вспотевший лоб рукавом фланелевой рубахи, не допив чай, вышел во двор.

Игнат, к сожалению, понял одно: надо искать другое жильё и попросился на квартиру к буфетчице Евдокие Мурзиной. С устройством на работу не торопился.

Овдовевшая весной Дуся по убитому в Чечне мужу, офицеру-десантнику, траура не соблюдала. Новому постояльцу была очень даже рада. Угождала во всем. Поила, кормила. Дело дошло и до совместной постели. Жить бы да жить при Дусе припеваючи, только её старшая дочка воспротивилась, из-за Игната устроила с матерью ссору. И даже драку! Кричала на всё село, что повесится, если та не прекратит устраивать в доме притон. А Игната так огрела чашкой по голове, что лицо его залило кровью. Пришлось идти в медпункт.

При заполнении карточки пришлось сознаться: и жить негде, и с работой вопрос не решается. Впервые, глядя в глаза худенькой, обаятельной и голубоглазой фельдшернице Полине Егоровне Неверовой, ему стало стыдно за себя, двухметрового лоботряса.

Выйдя с перевязанной головой из медпункта, Игнат направился тогда к Неверовым и попросился пожить несколько дней, пока подыщет подходящее жильё. Вечером они отправились к брату поговорить о работе. Михаил Иванович чин-чином отрекомендовал постояльца. Конечно же, авансом! В надежде, что беспутно проведенный год послужит тому уроком.

Оказалось, Егор Ефимович хорошо знал родителей Игната и с радостью принял его в бригаду подсобным рабочим. Узнав, что Игнату негде жить, предложил комнату с отдельным входом в своём доме. Бесплатно. Им вдвоём с женой Галиной Петровной и трёх комнат достаточно.

По всему было видно, Игнат показался Егору Ефимовичу, который пригласил хозяйку, познакомил и твёрдым голосом наказал:

— Прошу любить и жаловать. Относись к нему, как родному сыну.

Проснувшись наутро после получения телеграммы, Игнат заспешил на перегон. Выдав бригаде задания на неделю, поехал электричкой к начальнику с заявлением на использование отгулов «по срочным семейным обстоятельствам». В подробности личной жизни Игнат его не посвящал, обронил вскользь, что надо забрать жену из Новосибирска. А тот благодарил за работу, лукаво улыбался и наме-

кал на скорое вручение именитому бригадиру высокой награды.

— На собрании чтоб был с супругой!

Дождь провожал Игната до вагона. И потом порывисто стучался, бился в окно купе быстрыми, косыми брызгами.

«Когда теперь мои мужики займутся делом, одному Богу известно. Завалим график к едрёне-фене!» Игнат поставил в рундук подаренную бригадой на день рождения небольшую дорожную сумку, из настоящей кожи, с множеством накладных карманов и блестящих замков. Аккуратно повесил на плечики промокший до нитки новый светлый плащ и стал выкладывать на столик малосольные огурчики собственного приготовления и пирожки с капустой из вокзального буфета. Достал и завернутую им в фольгу вяленую грудинку, копченые крылышки курицы. В поездках любил плотно, вкусно поесть и не отказывал себе в этом. В дверь постучали.

— Входите! Что стучаться-то! Не дома ведь.

В купе вошла промокшая до неузнаваемости и синевы соседка Таня Скурыдина. Игнат вскочил ей навстречу.

— Вот радость-то! В селе недосуг повидаться и поговорить по-человечески, так случай в дороге свёл. Скидывай скорее мокрые тряпки, а не то простудишься. Я выйду пока, и готовься к ужину.

— Сейчас, Игнат Григорьевич! Сбегаю в тамбур, бабуле помашу. Отец с мамой в смене. И ей не велела приезжать. Так нет же! Послушается она! Как теперь доберётся обратно по такой непогоде? Не простудилась бы...

Поезд медленно оттолкнулся от перрона, и девушка вернулась в купе.

— Ну, и дождина! Льёт без устали день-деньской. Полные кеды воды. А джинсы, хоть выжимай. И зонтик не помог.

Игнат направился к проводнице за горячим чаем.

— Мне не до чаев ещё! Надо билеты собрать, постели разнести. Не успели от вокзала отъехать, а уж чай подавай им! — откликнулась из своего закутка недовольная хозяйка вагона.

— Куда мы сбежим-то! А билеты при посадке на што проверяла?! И постели подождут, не ночь, — укоризненно покачал он седой чуприной. — Озябшим людям согреться помочь да вещи посушить — вот это срочно, это по-людски! Чем они виноваты, что на стихию управы нет? Ты лучше не ворчи, а поспешай со своими услугами. Пассажиры спасибо скажут, и тебе прибыльно, — улыбнулся неожиданно. — Гляди, настучу твоей начальнице Ларисе Ивановне. На пенсию её никак не отпускают. Умница! И добрейшей души человек. А мы с ней когда-то техникум оканчивали.

— Да?

— А то!

Проводница подобрела, загремела подстанниками. По вагону разлился аромат настоящего индийского чая.

— В седьмое принесёшь четыре стакана. И с двойным сахаром! Печенье не забудь!

Настроение у Игната заметно улучшилось, и он заторопился в купе.

— Так-то оно здоровее будет, — одобрительно отметил Игнат, увидев Таню в длинном махровом халате и войлочных домашних тапочках.

— Что, Танюш, так рано в институт торопишься?

— Решила до начала семестра поискать работу. Впереди госэкзамены, и прощай, студенчество. Радоваться бы, а тревоги больше, чем радости. Теперь до нас никому никакого дела. Не распределяют, не приглашают. Совсем не так, как было раньше. Вроде, и вовсе врачи не нужны. Взвалили учебу непосильной ношей на родительские плечи. Спасибо отцу с матерью да бабуле Фисе. Не быть бы мне врачом. А когда получу диплом, опять беда. Надо умудриться место по специальности найти, чтобы копейки получать...

Задумчивое, погрустневшее Танино лицо изменилось, повзрослело. Игнату тут же переданная настрой её души.

— Нет радетеля за многострадальный народ наш, нет! В мои годы, если было стремление и мозгов хватало — учись! А нынешние господа-демократы рогами в кошельки на-

родные уперлись. Дырявляют, тянут из них, как могут. И добро народное не под нас, под себя гребут. От молодежи, поросли земли нашей, отделились. Мол, живите и растите, как придётся-можется!

Делился наболевшим Игнат.

Не хотелось ему талдычить с Таней на эту тему, сто раз переговоренную с мужиками. Надо ли девчонке эту боль слушать? А не мог молчать. В бригаде только Перебежкин и был всем доволен. А что ему горевать! Сын в богатенькие выбился. Беззащитную тайгу-матушку нещадно и безнаказанно который год рубит. Строевой лес вагонами за кордоны гонит. У Перебежкиных о завтрашнем душа не болит! Нагребут богатства немерено и сбегут куда подале. И нет им ни стыда, ни суда. А лес наш гибнет. Сосновый да кедровый подлесок, чуть подросший, колесами да гусеницами заминается. Будто, добро лесное не для всех нас веками накапливалось, а для одних Перебежкиных.

В купе вошла проводница и принесла поднос с чаем.

— Ну, спасибо, хозяйюшка. Ко времени угодила. Сейчас с Танюшей ужинать будем. Садись и ты за компанию, коль не побрезгуешь.

Галя зарделась веселым румянцем.

— Нет уж, кушайте без меня на здоровье. Я привыкла чаевничать ближе к ночи, как управлюсь. Хозяйство всего-ничего, а хлопотно.

Татьяна достала к ужину плотно укутанную бабой Фисой кастрюльку с молодой картошкой. Желтенькая, кругленькая картошечка аппетитно дымилась, освободившись из-под сберегающих её тепло одежек. Игнат тоже придвинулся поближе к столу.

— Давно дома гостишь? С родителями и Анфисой Митрофановной изредка переговариваемся через огород, а тебя с весны не видел.

— Проходила специализацию. В клинике областной.

— Вон оно что! Это дело нужное...

— Но успела до дождей погрибовать да поягодничать с бабулей! — радовалась девушка. Исконно снежницкие слова! Игнат за семь лет, прожитых здесь, привык к местному говору и находил в нём особую сочность и точность обозначенного им предмета или действия. Они доставляли его слуху приятную отраду.

— Это хорошо, что родной дом не забываешь! Не отгораживаешься, как иные образованностью да занятостью. А сами-то — темны! Чувырлиным языком душу не засоряешь. Умница! А то, послушаешь, хоть на автобусной остановке, хоть в кафе каком — уши вянут от мата! Будто ничему не учили в семье и школе. Дикари! Двух слов без мата не свяжут. Я — работяга, не пайнька, но мата — стыжусь. И в бригаде — строго-настро-го. Запретил этой нечистью оскверняться.

Поначалу, помню, даже бузили. Теперь уж семь лет на путях вместе. Маты не гнут. Иногда у кого изо рта и выскочит лешак, так тут же извиняется. Мол, нечаянно.

Татьяне особенно пришлось по вкусу куриные крылышки. Шоколадного цвета, вымоченные перед копчением в соевом соусе с медом. Вкуснотища!

— Ешь, ешь, Танюша! Я их целый килограмм взял. Хватит нам и позавтракать. Вижу, в городе замоталась, не до еды было.

— Ага-а... Проголодалась. А в кафе... Цены! Не по моему карману. Про столовую, у кого спрошу, в ответ руками разводят. Как будто в городе одни миллионеры живут.

Поужинали. Оставшуюся еду Таня завернула в чистые салфетки, придвинула поближе к окну и прикрыла бабушкиным полотенцем.

— Игнат Григорьевич, расскажите что-нибудь о себе. Живем огород к огороду, а друг о друге ничего не знаем.

— Да, суетно живем. Все, как у роботов, с утра до ночи по программе расписано: работа, дом, постель, работа. Одна отдушина — полочется у самого забора тайга. С ней часто говорю, как с мудрым собеседником. В свободные дни хватаю короба — и ну грибничать да ягодничать. На болоте уж брусника дозревает. Вернусь домой, опять в зиму наберу до краев бочонок, а в нем более пяти ведер.

— Как хранить-то?

— Она, Танюш, сама себя, словно девица, хранит. Не даётся на погибель ни одному микробу. Заливаю доверху колодезной водицей, и так она до следующей осени, до самой последней горсточки целехонька будет. Вы-то ягодничаете?

— У бабули в тайге свои потаённые фазенды. Там и черники полно, и клюквы с брусникой. Её спросите. Вам-то она откроет много секретов. Уважает. Говорит, такие мужики, как Игнат Григорьевич, не пьющие и не гулящие, на сотню — один. Дедуля мой Прохор Степанович, земля ему пухом, до последнего дня самогонкой за жизнь цеплялся. Советы врачей и мои на смех поднимал, о лекарствах и слушать не хотел. Умер-то совсем не старым. Бабушке скоро шестьдесят, а его пятый год как нет.

— Значит, Митрофановна — моя ровесница! А я думал, она намного старше меня.

— Жизни её не позавидуешь, оттого и рано состарилась. Дед Прохор смолоду горячего норова был. Её, круглую сироту с детства, за безмолвную рабу держал. А сам попивал да погуливал. О покойниках плохо говорить грешно, но он только к старости образумился. Перед смертью у Бога прощения за грехи тяжкие просил, руки бабулины целовал. Вы не такой!

— Что ты! Грешнее меня никого на белом свете нет.

— Неправда. Ваша жизнь в поселке, как на ладони. Никто худого слова не скажет. Вчера вечером почтальонка Нюся чушь про вас понесла. Так бабуля и слушать не стала, за ворота выпроводила. Не терпит перегара. Дедовым, видно, по горло надышалась.

Они надолго замолчали, размышляя каждый о своем. Татьяна принялась перелистывать свежую «Комсомолку». Потом, отложив её, встала и внимательно посмотрела на лежащего Игната. Его лицо отображало тягостное состояние души.

Потом она о чём-то долго и сосредоточенно думала. И наконец, решившись, робко спросила:

— Игнат Григорьевич, а у вас внуки есть?

— Нет у меня никого, Танюша. Один я, как перст, один.

— А можно, я буду называть вас своим... дедом? У меня ни одного деда в родне не осталось. Кто погиб на войне, кто спьяну рано умер.

Таня по-детски сложила красивые пухлые губки бантиком. На глазах её бусинками выступили слёзы. Сейчас разревётся.

— Дедо-ом?

Игнат от неожиданной просьбы привстал. Постоял потом у окна в коридоре в каком-то забытье, широко расставив ноги и едва удерживая равновесие. И только через некоторое

время, словно вернув себя издалека, тяжело сел у двери на краешек Таниной полки.

— Что и сказать тебе, девка, не знаю.

В его бездонно глубоких черных глазах теплилась, боясь погаснуть, радость.

— Ты со мной, Танюшка, только через забор здравствовала да, посмеиваясь, поглядывала. Ничегошеньки-то обо мне не знаешь, какая быстрая река несла меня по жизни, о берега била. Не раз на опечек бросала. А ты зовёшь в кровную родню! В деда!

— А что означает «опечек»?

— В Минино старые люди так отметили называли. Плавать там — волны нет, только бродом.

— Трудно вам жилось, Игнат Григорьевич? Я ж и в самом деле ничего не знаю. Но по душе вы мне. Как родной...

— Трудно, говоришь? Это с какого угла посмотреть. Раньше бы бесстыдно закивал головой. Теперь скажу, больно гонористый был. Норов свой тешил, впереди себя его нёс. Поперек ничьего слова не допускал. Где там!

— По вас не видно! Бабуля, та святым зовёт. Деду в пример ставила.

Помолчали. Дождь прекратился, и первые звезды мерцали над горизонтом. Поезд с усилием преодолевал подъём.

Игнат Григорьевич опять встал, подошел ближе к окну. Таня притулилась рядом.

— Молодец, Енисеюшка наш, молодец! Такой крутизной много водицы из Оби в своё

русло заманил. Мудрен, батенька, мудрен. Оттого велик да могуч!

— По водному богатству ему в России равных нет, — живо откликнулась Татьяна.

— А сколько тебе лет, Танюша? В молодые-то годы я на спор угадывал: на год-два ошибался — не больше, а нынче не то...

— Скоро двадцать шесть уже. Школу окончила в семнадцать, а потом три года подряд в мединститут поступала. По конкурсу не проходила. А денег лишних в семье не было, чтобы взятки-то давать.

— Значит, можно с тобой обо всем говорить, как со взрослой?

— Разумеется! За шесть-то лет досыта нахлебалась вольной студенческой жизни. Родным ничего не говорю, а вам скажу: перед последним курсом замуж собралась. После практики жениха хотела домой привезти родителям на показ. А он за три месяца моего отсутствия успел с какой-то медсестрой в больнице сойтись. Та забеременела и женила его на себе. Теперь не верю ни в какую любовь! Обман все это. Игра. Вот смотрю на вас и удивляюсь. Серьезный вы человек. И чистый. Мало таких мужчин.

— Не торопись, милая, на божничку ставить! Давай-ка ещё чайку попьём. Заодно и побеседуем.

Девушка уютно усаживалась за столиком, раскладывая домашнюю выпечку, а Игнат

пошел за чаем. Вернувшись, похвалил проводницу:

— Зла не затаила на меня. Весь вагон чайком побаловала. Сейчас и нам опять принесёт.

— Возьмите деньги, Игнат Григорьевич. Теперь я угощаю.

— Чего ты на самом-то деле! В жизни копейки от женщин не брал! Упаси и помилуй от сего греха!

— Ладно! Сочтёмся! Бабулиными шаньгами! — смеясь, примирилась Татьяна. — Люблю их, с домашним творожком, на взбитых сливках. У-у! Пальчики оближешь! Откушайте, Игнат Григорьевич, на здоровье!

— Не откажусь, хотя надо бы в мои годы удерживаться от сдобы всякой, а я, как малый ребенок, падок на сладкое да скромное.

Поезд покатил с горки, теперь в сторону Оби, выбивая на все вкусы ритмы и подпрыгивая на стыках. «Рихтовка на этом перегоне хреновата. Огрехов наоставляли. Надо путейцам подсказать», — подумал Игнат.

— Ну, слушай, коль сама захотела. В те годы я работал плотником, и мы с Полей, Полиной Егоровной, доживали в семейном браке десятый год. Детей не было, хотя Поля последние два года непрерывно лечилась у городских докторов, ездила на курорты. Честно сознаюсь: чего-то я недопонимал что ли, но к малышам вовсе не тянуло. Это теперь весь дрожу, как младенца вижу. А тогда в башке

дури да глупости сполна было. Чужие женщины с ума сводили. Одним словом, не стойкий был... Полина, вроде как и не замечала моих измен. Но потом ей надоели мои бесконечные оправдания и вранье, вранье! Чего было клясться, дураку, если у всех на виду пьяные гульбища хороводил. И стали мы чаще и чаще ссориться с Полей, мирились с трудом.

Татьяна настороженно притихла, не веря ушам:

— Не оговариваете себя? Семь лет огород в огород живём, ни одной женщины не видали. От бабулиных глаз еще никто не спрятался!

— Так она, Полюшка-то, в сердце моем! Одна-одинешенька. Последние семь лет нет у неё соперниц. Кабы мне, поганцу, так всю жизнь любовь сберегать, жили бы мы сейчас с Полей и радовались. А я все наоборот! Метался ошалело от одной крали к другой. Устала Поля, ох, как устала! Чужой стал для нее. Грязный. Родители и вовсе со мной здороваться перестали. Во, до чего достукался! Не мальчиком же, однако, был. Великовозрастным дядей!

— Неужели правду разносит по селу пьяная Нюся?!

Она брезгливо отодвинулась от столика в угол полки, прикрыла высокие колени цветастой простыней и метнула в Игната из круглых синих глазищ пучок возмущенных искр.

— Нюся? Она и есть... тьфу-у... живая страница моей постыдной прошлой жизни. Не от-

межеваться, не отмыться! Хоть и немало воды утекло.

— !!!

Щеки у Танюши горели, словно от жаркого костра. Она не поднимала на соседа глаз. Другой реакции от неё Игнат и не ожидал, а потому решил таки закончить рассказ и этим навсегда отгородиться от юной соседки глухой стеной.

— Однажды Поля уехала на лечение в город, её должны были положить дней на десять, а я остался хозяйевать. Тут-то и подловила меня развеселая почтальонка Нюся, приехавшая в Минино пожить у тетки. Честно скажу, бабенка она была ничего, смазливая, и со слов деревенских знатоков, умелая в обращении с мужиками.

Поздним вечером Нюся сама, без приглашения, заявила в наш дом. С полной сумкой закусок и бутылкой самогона. Что было дальше и рассказывать-то противно. Пошло, как в срамном кино. Напились до поросячьего визга, и Нюся завалила меня на чистые Полины простыни. А в это время вернулась домой последней электричкой Поля. Картину застала, хоть маслом на холсте пиши. Растормошила и вытолкала нас полуголых из дома, хлеца поганым веником. А меня и навсегда из своей жизни вытолкнула... Больше мы не виделись...

Утром я уехал к другу в город, а еще через два дня мы укатили с ним на БАМ. И там дол-

го еще мучили меня кошмарными историями всякие Нюси, Муси, пока однажды не приснился мне жуткий сон. Ты знаешь, Тань, в самый канун моего юбилея. Пятерик стукнул...

Будто стою я в Минево на Караульной горе с отцом и матерью. Все с головы до ног в грязи. Родители плачут. Подвели меня к обрыву. Отец сердито стал трясти надо мной старый, знакомый с детства, сыромятный ремень, а мать говорит: «Просила тебя, сынок: подивись одним яблочком! А ты всякого дерьма в рот напихал. Горько здесь позор твой перед людьми несть». И они вмиг исчезли.

Проснулся я, будто роем пчёл покусанный. В ту ночь больше глаз не сомкнул. Утром на перегон, на работу, не поехал, отпросился. Тогда, на БАМе-то я укладчиком пути работал. После сновидения нутро огнем горело. Из общежития никуда не выходил. Лежал и, как книгу, перелистывал жизнь свою по годам и весям. Словам материным дивился: откуда про меня узнала и отцу доложила. Стыдобища одна, срамота! На работе в передовиках хожу, а личную жизнь коту под хвост засунул.

На следующий день написал заявление об увольнении. Начальник и слушать не хотел. «Мы тебя, говорит, ко второму ордену представили, а ты дезертировать вздумал! В самое горячее время — в кусты?! Легкой жизни захотел? Не дури, Игнат Григорьевич, называй истинную причину, а лучше бери кайло и догоняй товарищей. Скоро Тынду сдавать под

ноль. Мне люди позарез нужны, каждый рабочий человек на вес золота, а ты нюни распустил.

Смуrow, — такая фамилия у нашего начальника была, — никогда не кривил душой. Это все знали.

«Вот гляжу на тебя, Демин, — это он мне, — и по-мужицки люблюсь. Красавец, трудяга беззаветный. Руки золотые и силушка, как дар Божий, выделены. Что же случилось с тобой?! Тысячи мужиков во сто крат грязней тебя душой и телом, — и ничего, живут. Не спешат каяться. А ты, видите ли, прозрел. Очень ко времени! В святыне заявление подаешь или куда выше? Смотри у меня, герой!»

А я ему: «Иван Петрович! Христом Богом прошу! Отпусти! Голова серебрится, а я по-человечески и не жил. Куражился. Окромя работы, светлого пятнышка во мне нет. Бобылем мыкаюсь: пьянки да гулянки. Чужие постели согреваю. Радости от них — ни на шишку кедровую. Сердце уж надорвалось. В мои-то годы любовными играми заниматься! Грех один. Сердце стал чують. Видать, и его терпению пришел конец. Сам себе противен. Нет сил далее душу на потеху чертям выставлять. Не уеду домой, считай, с горки еще круче покачусь. Сжался ты надо мной, Петрович! Сам-то, небось, женат?»

«Ну ты даёшь, Григорьич. Да я, смеётся, со своей Зинулей ни на день не расставался. В первых палатках жили вместе. Ночами свое

одеяло ей, чтоб, не дай Бог, не простыла. Сам, бывало, полушубком накроюсь! — вспомнил, расчувствовался. — Теперь-то что? В своем доме живем. Дочек растим. Поздние они у нас. Дорого достались... Припёрло, говоришь? Понимаю.» Вошёл он наконец в моё положение. Понял, что стыдобушка меня гложет за препорученные воронью могилы отца с матерью, едва не пропитый отцов дом...

А когда понял, за голову взялся: «Да, Игнат Григорьевич, достал ты меня. Такое душевное многоборство дорогого стоит! Силён ты, батенька, силён. Ни водка, ни бабы твои, бесстыжие, не одолели тебя. Нет, не одолели! Прости, но поначалу я не врубился. Чуть по башке тебе не врезал! Думаю, чокнулся он что ли, какими-то глупостями мозги мне компостирует. А дослушал до конца крик твоей проснувшейся души и все понял! Зауважал. Ей-богу, зауважал! Не припомню подобного разговора с мужиками нашими, не припомню. Не хотел отпускать, но теперь знаю, не легкой жизни ищешь. Война с собою — самая кровавая и жестокая.»

Долго мы тогда изливали друг другу душу. Иван Петрович тоже рассказал о своих «мелях да порогах». Подрались с дуру в студенчестве. В тюрьму угодил. Почти пять лет учёбы псу под хвост. Вышел — пришлось заново отвоевывать всё, что было в одночасье по глупости утрачено: доброе имя, институт, дове-

рие. Хорошо хоть Зина его в нём не усомнилась. Дождалась и верность сохранила.

«Ладно, Игнат Григорьевич! — пожал он мне руку. — В деле — ты мужик геройский! Сильный духом! Верю, что и личную жизнь на рельсы поставишь. Тогда цены тебе не будет. Может, и твоя Полина Егоровна простит тебя, подлеца этакого, когда свидитесь. Буду весточки ждать. Новую свадьбу сыграем. Сгожусь за посаженного отца? Твой орден в Красноярск пришлём. Попросим железную дорогу с почестью вручить его.»

И подписал мне увольнение с переводом в родные края.

Чай давно остыл, но девушка и не вспомнила о нём, задумчиво жуя ватрушку:

— И вы поехали в Минино к Полине Егоровне?

— Полетел птицей впереди локомотива. А Полюшка-то моя там давно уже не жила, а дом её снесли под новую школу. Расстроился, конечно, и отправился к нашему, Деминскому. Что годы сделали с ним! Нерадивые хозяева не берегли, а еще и подразили его. От подворья тоже ничего не осталось. Только старые кедры и стояли. Не поверишь, показалось мне, что протянули они ко мне свои ветви. Остальные деревья, судя по пням, по надпилам, давно сгорели в печи.

Не вытерпел, постучался в слетевшую с петель входную дверь. Вышел пьяный му-

жик и назвался хозяином. Сергеем. Уже в начале нашего разговора я возмутился отношением к дому. Он не обиделся: «Тут нас, хозяев, — говорит, — перебывало, счету нет. А мне не до дома. Я из Чечни вернулся контуженый, больной на голову. Родители померли, да и я скоро вслед за ними отправлюсь. Если сочувствуешь, подкинь на бутылку. Со вчерашнего дня ничего не ел». «Зато пьёшь, видать, беспробудно», — некстати съязвил я. «Да, пью! — говорит. — А что остаётся делать бедному солдату? Власть-то наша, новая, пенсию отвалила — на лекарства не хватает, а тем более на жизнь по-человечески. Спасибо, хоть Нюська, посудомойка, подружка моя, подкармливает нас с сотоварищами объедками с буфетных столов, а то бы давно с голоду, как псы бездомные, сдохли. Но и Нюскиной подработке конец приходит. Видите ли, пьёт с клиентами и выпрашивает у них чаевые на бутылку. Так это из-за нас. Подумал я и решил свалить на дальнейшую житуху к тетке в Богучаны. К рыбной Ангаре поближе. Там хоть как-то, даст Бог, прокормлюсь, пока не помру».

«Слушай, Сергей! — говорю. — Продай мне дом! Это же мой родной дом. Родовой! Тут прадед и дед на свет появились. Отсюда ушли на фронт и погибли в боях два брата и сестра. В его стенах упокоились мои родители. А я после их смерти, безмозглый, за бесценок потерял его. Но дело не в деньгах. Не могу жить

без этой пяди земли. Как оторвался от неё, мотаюсь по свету, словно перекаати-поле, без корней и доли.»

Сергей этот отзывчивым человеком оказался. Не стал из меня жилы тянуть. «Нет вопросов, если есть, чем платить. В поселке, сам знаешь, с покупателями негусто. Вся работа — в городе, а для станции нужны специалисты в их железном деле. Не для меня, контуженного, ихняя дорога. Завтра же едем в райцентр бумаги делать. А я-то хотел пустить квартиранткой Нюську. Она бы со своими собутыльниками спалила твой дом начисто.»

Я ему: «Ты только, вроде, её своей подружкой называл, или я ошибаюсь?»

«Какой там! Всё это от нищеты. Не на кого, кроме Нюськи, опереться мне, инвалиду. За кого и за что воевал, если оказался никому не нужным?!» Горько и безответно сокрушался Сергей. Жаль стало его безмерно, как сына вроде. По возрасту-то он мне в сыновья годился.

Пожал ему руку и протянул тысячу рублей. Как залог и доверие.

«Ни фига себе! — обрадовался парень. — Это же, считай, моих полпенсии! От пуза сосисок наемся. Уж запах мяса забыл. Во, житуха! Ты не беспокойся! — мне говорит. — Не пропью. На подкорм пойдёт. Отощал малость.»

Не веря удаче с покупкой дома, отправился я в поселковую администрацию разузнать,

куда выехали Полина и Неверовы. Там оказалась приятельница моей тещи, признала меня и сказала, что все Неверовы перебрались в Новосибирскую область. Никому из сельчан не писали, и адреса их ни у кого нет. Осталась у меня одна надежда на паспортную службу. Послал запросы в адресные столы. Пришли два ответа, но оба не подтвердили прописку Полины и её родителей ни в городе, ни в области. Каким-то десятым чувством, Татьяна, именно в эти горькие для меня минуты уверовал я, что непременно найду Полю. Обязательно! А себе дал зарок: переломлю себя, навсегда отрекусь от былой жизни. Авось и Господь смилуется, сведет меня с Полиной путями, только ему ведомыми.

Недели через две оформил купчую на родной дом. Проводил Сергея к тётке, принялся за ремонт. Три месяца бамовского отпуска посвятил воскрешению отцовского дома. Всё делал своими руками. Подбодрили меня друзья к тому же. Начальник участка предложил возглавить путейскую бригаду, закрепленную за станцией Снежница, в Монино-то свободных рабочих мест не оказалось, — и я согласился...

— Ну и что? Что дальше?!

Татьяна, слушая, вновь придвинулась к столику, то задумчиво поправляла стопку аппетитно дышащих шанег, то обхватывала ладонями, будто грела давно пустой подстаканник.

— А дальше жил и работал по соседству с тобой. Легких хлебов нигде не бывает, но БАМ научил меня многому. Там я прошёл школу. И знаешь, милоч, потихоньку-полегоньку вывел свою бригаду в передовые. Мужики почувствовали, что могут горы свернуть, если всё с умом делать, стали неплохо зарабатывать, перестали по случаю и без него тянуться к рюмке. Поначалу мой сухой закон многим не пришелся. Иные грозились уволиться, скандалили, а я никого не задерживал. Готов был написать на заявлении свое «не возражаю» в любое время. Стал загружать их работой, не оставляя времени на перекуры и чаепития. Постепенно втянулись в такой ритм, что любо-дорого. А сейчас благодарят. Особенно их жены.

— А как с розыском Полины Егоровны? — кусала пухлую губку его слушательница, то хмурясь, то веселея глазами. — Бросили вы его?

— Эх ты, а еще во внучки просилась! «Бросил...» Вот, еду к ней! Может, и замужем за кем давно, но я зачем-то понадобился, коль призывает.

— Сама отыскалась?!

— Да! Нюся принесла вчера срочную телеграмму.

— Боже мой! Радость-то какая!

— Ой, Танюша, не знаю, радоваться или главная печаль моей жизни ещё впереди.

Лицо Игната потускнело, посерело в миг. Видно было, как страдает от неизвестности его душа.

— Что встревожило-то вас?

— А её слова: «Сообщи о приезде. Встретим». Стало быть, не одна будет встречать. С кем же еще-то, как не с мужем! Сынка-то или дочку Бог нам не дал. Развода, видно, просить будут. А я ни за что не дам! Полю любил и люблю, только раньше дураком был. На пятки со шлюхами свое счастье разменял. Теперь я другим стал. В ногах у Поли буду валяться, прощения до самой смерти вымаливать, но никому её не отдам! Не отдам, и всё тут!

— Это как же, Игнат Григорьевич?! — вдруг возмутилась девушка. — Говорите, что любите свою Полюшку, а счастья ей не желаете. Вдруг она нашла свою половинку — и счастлива?! А потом... Потом вдвое не правы вы.

— Это в чём же? — нахмурился рассказчик.

— По закону-то, если нет у вас совместно нажитых несовершеннолетних детей, то вас давно и без личного участия в процессе развели бы...

— Это что ж, выходит, с дитём она? — дрогнул его густой ровный баритон.

— Вполне может быть...

— Н-да, — только и крякнул Демин, скребя затылок. — Как же я оплошал?

— Я, Игнат Григорьевич, не судья вам, — давясь подступившими слезами, вдруг сказала девушка. — Вы и так себя наказали-и...

— Ну, что ты, девонька? Успокойся, — погладил осторожно тяжёлой, как камень, рукой Игнат вздрагивающую девичью спину. — Что ты?

Татьяна вытерла глаза:

— И правда. Досталось же вам вон как. Лишились любимой жены, по уши нахлебались грязи. Но теперь вы чисты перед собой и Полиной Егоровной. Не всякий мужчина на такой подвиг решится! Многие даже и не считают измены предательством любви. Кичатся «победами». И как вам удалось справиться с собой?

— Так не раздумала меня в деды-то взять? В силе уговор?

— Да о чём речь! Конечно, в силе! Вы мой де-ду-шка! — прокричала она на весь вагон восторженно. И, вслушавшись в наступившую во всех купе тишину, повторила ещё громче:

— Мой дед! Мой!

Игнат разволновался. Стоял, не знал, куда деть руки.

— И ты для меня теперь, Танюша, внученька моя. Единственная. Будешь самым родным человечком!

— Не шутите, Игнат Григорьевич?!

— А ты, когда кричала на весь вагон, шутила что ли?

— Нет. Я совершенно искренне.

— Вот и я... искренне.

Игнат пристально посмотрел на Татьяну. Она тоже отчего-то расплакалась, и её краше-ные ресницы источали мутные ручейки.

— Ну-ну! Не разводи мокроту, коли радость у нас?

И принялся тщательно вытирать её щеки.

Забрезжил рассвет, когда поезд на полном ходу вкатился в городские окраины.

Розоватые всполохи утренней зорьки игриво отражались в лужицах недавно умытых улиц, мокрых от росы фонарях, нескончаемых витринах магазинов, в каждой окошке серых многоэтажных домов. Вскоре они заиграли радужными, пляшущими зайчиками в купе, где без сна и покоя всю ночь просидел Игнат. «Что еще замутит со мною судьба — судьбинушка?!». Но мысль оборвалась, едва мелькнув и смутив сознание, потому как поезд, пыхтя и скрипя тормозами, уже останавливался у перрона, светящегося чистотой и обласканного первыми лучами восходящего солнца.

Пассажиры растянулись по коридору длинной змейкой, толкая дорожную кладь по мере продвижения впереди идущих. Открыв на секунду дверь купе, Игнат тут же захлопнул её.

— Татьяна! Давай выйдем последними, не люблю толкаться среди сумок и чемоданов.

А сам прилип к окну, надеясь отыскать среди встречающей толпы дорогое ему лицо. «Узнаю ли Полюшку, любушку мою, ненаглядную?». И вдруг сорвался с места, распахнул купе, полетел птицей к выходу, расталкивая всех и извиняясь. В «полете» зацепился о длинную ручку чей-то спортивной сумки. Повалился на пол. Поднялся. И через мгновение слетел со ступенек тамбура. Не помня себя, оказался у ног статной седовласой женщины с малышом на руках.

— Поля! Неужто вижу тебя, моя Полюшка! Ну, здравствуй, родная...

Слезы рекой полились по его небритому, шершавому лицу, безупречно ухоженному саянскими свежими ветрами да сибирскими морозами.

— С приездом тебя, Игнат!

И подала ему на руки мальчонку. Тот, видя плачущую бабулю, насупился и тоже готов был сиюминутно расплакаться.

— Так что ты хотел сказать, Гришуня? Скажи скорее! — опередила она его наворачнувшиеся слезы.

— Здрластвуй, деда Игнат!

Малыш потрогал пухленькими ладошками развевающийся на ветру дедов чуб. Потом прижался к нему всем тельцем, заулыбался, обнял за шею и, поцеловав деда в мокрый нос, громко крикнул:

— Я Глиша Демин!

Игнат был на грани чувственного обморока, но сумел справиться с собою. Только со слезами ничего поделать не мог. Они продолжали омыwać его осунувшееся, посеревшее за бессонную ночь лицо.

— Родные мои! Да как же мне горько жилось-то без вас. Почему ты, Полюшка, молчала, скрывала от меня такое счастье? А где сын с невесткой?

— Они работают за Полярным кругом. В Талнахе, где-то под Норильском. Оба в прошлом году политехнический окончили. Металлурги. А мы с Гришей хозяйничаем.

— Ты ни разу не писала мне?

— Первые годы не писала. Обида душила мои чувства. Потом тайно от родителей несколько писем послала в Минино на имя начальника почты, чтобы письмо вручили тебе лично. Безрезультатно. А родители, царство им небесное, и слышать о тебе не хотели. Из-за нас они сорвались с родного гнезда и покоятся теперь на чужбине. Папа, умирая, наказывал мне не искать тебя. Но последние три года, сразу после рождения Гриши, вместе с сыном Егором ищем тебя. Не раз писали и в сельсовет, и на почту, и по адресу твоих родителей, где ты семь лет тому назад прописался, но ответа так и не дождались. Не знали, что и думать. А тут пришла мне в голову мысль написать в отдел кадров железной дороги. Спасибо им! Быстро ответили, что работаешь бригадиром на станции Снежница. Там и жи-

вешь. У кого, не написали. Я позвонила Егору, и мы решили послать тебе телеграмму с уведомлением. Наш сын ничего плохого о тебе не слышал. Сказала ему, что характерами не сошлись. Такое, мол, и у любящих друг друга людей случается.

Игнат сразу же догадался, в чьи руки попадали Полюшкины письма в Минино, и какое обстоятельство заставило вручить ему телеграмму в Снежнице. Но сейчас ему было не до Нюсиных пакостей и её женской мести: всего его, до последней живой клеточки, переполняла радость встречи. Не иначе, по божьему повелению его повинившейся судьбе. Теперь ничто и никогда не отнимет у него этого счастья, не разлучит с ним, не обездолит.

Опомнившись, Игнат отыскал глазами Татьяну. Она улыбалась, стоя на ступеньках тамбура.

— Дедуля! Я здесь! Прими вещи!

По лицу Полины пробежала быстрокрылая тень.

— А это кто с тобой? — спросила она омертвевшим голосом и поспешно забрала внука. Игнат бережно спустил со ступенек Татьяну.

— Знакомься, свет-Полина Егоровна! Это внучка Татьяна.

Видя неловкое и горестное смятение на лице Полины Егоровны, чуткая Татьяна тут же сняла её нервное напряжение.

— Полина Егоровна! Вы только не переживайте понапрасну! Игнат Григорьевич — мой

названный дед. Вчера в поезде упросила его стать дедом. Моим родным дедулей!

Глаза Полины Егоровны, хоть и оставались еще по-прежнему взволнованными и влажными, но уже засветились веселыми огоньками.

— Вот и славненько! Теперь и у меня, значит, появилась давно желанная внучка.

Еще до конца не верившая в счастливое завершение многолетней разлуки с любимым, Полина медленно выходила из душевного оцепенения. Придя в себя, поцеловала Татьяну и прижала её к груди.

Снующие туда — сюда пассажиры быстрыми водами обтекали их со всех сторон. Но каждый, проходящий мимо, краешком взгляда успел запечатлеть в памяти сердца пульсирующий радостью, обнимающий все стороны света островок настоящего человеческого счастья.

Через неделю Игнат с Полиной и Гришенькой вернулся в отчий дом. Свежевыкрашенный перед отъездом забор голубым пояском окаймлял ухоженное и цветущее подворье. На фоне раскидистых кедров, чудом спасшихся от бездумного топора, в объятиях огненно красной и бело-розовой герани обновленный дом смотрелся огромным янтарным самородком.

Игнат подвел жену и внука к околку молодых кедрят. Под порывом свежего ветерка

они дружно склонили изумрудные пушистые головки к ногам хозяйки.

В тот же день Демин отослал Ивану Петровичу Смурову в Тынду обещанную весточку: «Срочно выезжай в Минино тчк Я в полном порядке тчк Ждем тчк Все Демины Полина зпт внук Григорий и твой навечно Игнат».

А вокруг, по всей Караульной горе, уже пылала багряными пожаращами золотая осень.

НА ДАЛЬНОМ ЗИМОВЬЕ



День разгулялся по-весеннему — яркий, пронзительный и тёплый. Казалось, бездонная синева неба и всё земное тянула за собой в высь. Улыбчивое солнышко весело катилось золотистым колесом к своей горке. А на Медвежьей скале замшелые вековые пихты макушками прокалывали и раздирали на мелкие, пушистые клочья одинокое белесое облако.

Андрей Амосов вёз жену и дочку на дальнее отцовское зимовье, где они еще не бывали. За десятки верст от Байкита. Каменистая верхняя дорога, вьющаяся змейкой по гористой тайге, во всякую погоду служила ему добрую службу. Нижняя, мягкая и более близкая, утопая в талых водах и грязи, была недоступна и уязима, грозя засосать по капот, а эта уже выбрасывала из-под его быстрых колес глинистую красноватую пыль.

Внизу виднелось большое, вытянутое с юга на север, сосновое болото, излюбленное глухаринное поместье. «Запаздываю с охотой. Мои влюбленные красавцы, небось, вдоволь напелись, наплясались. Бывало, к этой поре и мы с отцом в волюшку душу отводили, днюя и ночуя на токовищах. А тут — работа, работа... Лихорадит буровую. То одно у них, то другое. Из-за нелетной погоды запаздывали вахтовики. А местные должны их, видите ли, выру-

чать. Замучили с подменами. Буровую, как дитя, не бросишь на кого попало. Узнав о годовщине гибели отца, бригадир дал три денечка. Вот и успевай, как хочешь! Отмечай день памяти и токуйся! Хотя, понятно, не ради охоты ехал. Она на сей раз — дело попутное. Наговорюсь с отцом... Буду крутить и крутить калейдоскоп его и моей жизни».

Подъезжая к пихтовому яру, остановился. Сколько бы тут ни ездил, а проскочить мимо не мог. Оля с Настенкой вышли из машины и тоже обомлели от неотразимой, завораживающей картины изумрудно-голубого эвенкийского океана. Простёрся он безбрежным разливом на все стороны света. Жена с дочкой видят это чудо впервые. Он-то старался бывать здесь реже, чтобы глаз не привыкал, чтоб сердце всякий раз ликовало, праздновало. Желанное, жданное-пережданное должно случаться редко. Тем и дорого!

Шумное семейство долго восторгалось изумрудными зайчиками, скачущими в игристых радужных лучах над парящей, плещущей волнами тайгой. её величие, вобравшее суровость древних причудливых скал, таинственность ущелий, вековой сумрак непроходимых распадков и бесконечный перезвон мелких безымянных речушек, завораживало, обновляло и укрепляло душу, снимая с неё усталость от долгой северной зимы. Лишь белые островки посёлков жемчужинами окаймляли

то слева, то справа берега глубоководной Подкаменной Тунгуски.

С высоты яра хорошо были видны стройные, стремящиеся в небеса красноствольные сосняки, нежные светло-зеленые лиственницы и матерые темнохвойные кедры. Тайга пленила и заманивала.

— Папа! Это все — твое?!

— Наше, Настенька, эвенкийское. Загляденье-то какое! Аж глаз печет и слепит. Отогревается матушка, теплеет. От небушка — голубая, а от хвойников — зеленая. Вдыхает солнышко и легким туманом дымится. Видите, как марева колышутся и бьются о горизонт?

Тунгуска — вся в белых бурунах — пестрой лентой вьется по низинам и взгоркам. А то, смотрите, полетела вдруг голубой стрелой к милому своему, Енисеюшке! С даром чистых вешних вод... Ну, любы-голубы мои! Омылись весенней свежестью, надышались ветра вольного — и на коня! Дела ждут. Охота.

Настеньке недавно исполнилось пять лет, и её впервые везли в тайгу. Она всю дорогу торопила отца.

— Едешь, папка, как деда Вэнко на собаках!

— Ты же любишь на лайках кататься?

— Так это на стойбище, по тропинкам! А тут... Хочу скорее зимовье деда. Ты помогал строить, правда?

— Помогал. Давно это было... Тогда мы с мамой Олей еще не нашли тебя под ёлочкой.

— А говорил, аист принёс на крышу!

— Да-а-а ?! Что-то я напутал. Нет-нет! Все-таки под елочкой, в жарках. Ты знаешь такой таежный цветок?

— Знаю-знаю. И деда Вэнко, и ты привозил нам с мамой букетики. Они, как магазинские розы, только в сто раз красивее.

— Точно, дочка! Ты похожа на них. Такая же яркая, на тонких ножках...

Увидев избушку издали, Настя захлопала в ладоши, подпрыгивая на заднем сиденье мячиком.

— Я первая, первая увидела её! Знаю! Дедина!

Выгрузив продукты и всякую мелочь для сезонной охоты, Амосовы дружно поделили, кому и что предстоит сделать. Маме Оле — прибрать и обогреть избушку, приготовить обед. Папе Андрею — все остальное, а Настеньке — собирать два букета: маме и на обеденный стол.

Малышка первой принялась за работу. Она весело бегала вокруг зимовья, крепко держа в кулачке букетик недавно вылезших из-под снега пушистых, фиолетовых подснежников.

— С корнем, дочка, не рви. Им больно! Ломай стебельки. Тогда цветочки будут расти тут много лет. И твоих деток дождутся.

— Пап, а я скоро женюсь на Косте Расторгуеве. Он хороший. Мне конфетки в садик приносит.

— Ай-я-яй, Настя! Тебе же доктор запретил есть сладкое! Вот матери расскажу — отшлепает! И с женитьбой не торопись! Мала еще!

— Так у нас в садике все женятся!

— Ладно, занимайся делом! Потом поговорим.

Андрей отгрёб от избушки старую хвою и прошлогодние, наломанные ветром ветки, вмёрзшие в прозрачные бляшки подтаевшего льда. Принялся разбрасывать не обогретый в тени пористый наст, тот горкой топорщился под раскидистыми нижними ветками стоящих неподалеку от зимовья сосен. На их вековых стволах и был устроен лабаз для провианта. Здесь же хранились рулоны бересты. В любую непогоду она помогала в миг растопить кормилицу и спасительницу от холода — буржуйку. Андрей не раз использовал берестяные скрутки вместо факелов в кромешной темени на токовище.

— Пап! Смотри, а там — медвежатки!

Громко вскрикнула восторженная Настя и подбежала к отцу. Размахивая подснежниками, она показывала ими на косогор и тянула отца к медвежьему семейству. Андрей едва удерживал её. Подняв на руки, крепко прижал к груди.

Неподалеку, в двухстах шагах, вдоль косо-гора давно лежало поваленное ураганом дерево. Амосов часто наблюдал за ним. Отшлифованные до белизны корни издали напоминали множество человеческих рук, в немой мольбе и нетерпении простёртых к небесам. По стволу, с расцепившейся, свисающей ключьями корой, бегали, играя в догонялки, кувыркались и тузили друг друга два годовалых медвежонка. С подветренной стороны, греясь в тёплых лучах полуденного светила, стояла, слегка покачиваясь и томясь, матерая медведица.

— Туда нельзя, доча! Их мама не любит, когда к её деткам подходят люди.

Андрей спокойно, без резких движений, чтобы не привлечь внимание медведицы, направился к зимовью.

— А ты, папочка, сам рассказывал сказку про девочку Машу, которая жила у медведей и даже съела у Мишутки похлёбку!

Недоверчивый тон дочери предвещал серьёзный разговор. Отцу ничего не оставалось, как подготовиться к защите.

— А вот и нет, доча! Девочка вовсе не жила с ними, а просто заблудилась. Бродила одна по лесу и набрела на медвежий домик. Дедушка Лев Толстой хотел рассказать Машеньке и всем детишкам, как живут эти умные и добрые животные.

— Почему же мы убегаем от них, если они добрые?!

Она вырвалась из объятий отца, спустилась на землю и снова попыталась бежать к медвежатам, громко взвизгивающим и мычащим от удовольствия у сушняка.

— Настя, послушай и постарайся понять: все сказки начинаются и заканчиваются в детских книжках. Они живут там. В сказках люди разговаривают со зверями и птицами. И те отвечают им человеческим голосом. Так они общаются, как мы с тобой. Люди хотят, чтобы всем было хорошо. В сказках они дружат с медведями. Но в настоящей жизни не всегда так получается. В тайге человек и медведь, если они умные и желают добра, стараются не встречаться. Просто близко друг к другу не подходят. Хотя медведь действительно умный зверь, но осторожный и мудрый. Помнишь, мы смотрели медведей в цирке? Там они — ученые. Дяди учат их общаться с артистами и детками. — Настя утвердительно кивнула головой. — Но в тайге живут и плохие медведи. Мы же с тобой не знаем, каких встретили, правда?

Настя молчала и думала о чем-то своем.

— Давай сходим к ним, узнаем. Может, наши — добрые?

— Нет, доченька, сейчас пусть медвежатки поиграют без нас. Видишь, как им весело! Да и в сказке медведи очень рассердились, когда увидели, что в домике побывал кто-то чужой. Помнишь: сломал стульчик, смял постели.

Мишутка даже хотел укусить за это Машеньку.

— Вот и неправду написал дедушка Лев толстый!

— Настенька, не «толстый», а Толстой. Великий русский писатель. Повтори!

— Дедушка Толстой — наш большого роста писатель. А я говорю дедушке Леве, что медведи так не живут и на людей не сердятся!

Ее личико обиженно кривилось, и черные бусинки глаз покрылись влажным перламутром.

— Нам Галина Ивановна говорила, что наши медведи — самые лучшие и добрые! Живут и спят в берлоге. Похлебку не варят, у них нет печки, а кушают ягоды и мед, — Настенька из-за возникших противоречий недоуменно и испуганно смотрела на отца, не понимая причины его нарастающей и как-то передающейся ей тревоги.

— Пойдем-ка, Настена, к маме. Заждалась нас и, наверное, приготовила что-нибудь вкусненькое!

Он оглянулся на медведицу, которая, как ему показалось, уже обнаружила их. Андрей посадил на плечи дочь и зашагал к зимовью. Та всем хрупким тельцем извивалась в поддерживающих её руках отца, и, оглядываясь, махала медвежатам.

— Пап, зачем дяди в книжках рассказывают неправду! И дедушка Лев тоже. Напиши ему, чтобы он так больше не делал!

Настенька горько расплакалась.

Видя спешное возвращение мужа и слезы дочери, Ольга забеспокоилась.
— Что случилось?!

Андрей мимикой показал ей, чтобы та замолчала. Раздев малышку, вытер рукавом рубашки её горячие ручейки и усадил за столик.

— Предлагаю, мама Оля, напоить нас вкусным чаем. Хотим варенья с горькой и сладких пирожков! — Он, как ни в чем не бывало, весело, беззаботно высказал их с дочкой пожелания и принялся помогать жене. Пыхтящий, ухающий и подпрыгивающий на раскаленной печке чайник источал запах сочных веток таежной смородины. По особому случаю, Ольга насыпала в берестяную вазочку любимых дочкиных конфет «Мишка на севере». И Настенькин мир сразу заискрился радостью.

После чаепития она безумолку болтала с мамой, разбирая пакеты привезенных из дому игрушек и вприпрыжку разнося их по углам и лавкам избушки.

Воспользовавшись подходящей минутой, Андрей заторопился в лес, якобы, за валежником. А сам, чтобы не насторожить дочку, незаметно снял с крючка карабин. Спрятавшись за пихтушкой, растущей в метре от двери зимовья — пожалели тогда с отцом срубить её, чуть подросшую, — стал наблюдать, как

ведет себя медведица. Та отвела медвежат от поваленного сушняка ближе к косогору. Но еще хорошо было видно, как два неугомонных шоколадных мячика скакали вокруг нее.

«Вот и умница! Нечего нам выяснять отношения при детях».

Пока Андрей отсутствовал, Настя успела сообщить матери о «медвежатках и их большой маме, которые хорошенькие и дружат с человеками». А мама Оля, зная её бесконечные фантазии, из добрых побуждений — предостеречь дочь — вкратце рассказала ей печальную историю, случившуюся недавно с парнями из их поселка. Через неплотно закрытую дверь Андрею был слышен их разговор. И он огорчился: «Нельзя же бесконечно травмировать психику ребенка. Особенно этим ужасным и редким случаем!».

Осторожно, прячась за деревьями, оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в монотонный гул тайги, Андрей направился в сторону медведей. Дойдя до сушняка, по-стариковски радуящегося еще неостывшему на его стволе горячему следу резвых медвежат и их захлебывающемуся от веселья дыханию, увидел, как они с треском и ревом кубарем катились вниз по косогору и скрылись за прибрежными кустами ивняка. Постоял, покурил. Неспешно взвел курок и, облокотившись на распростертые сучья, замер, всматриваясь до рези в глазах в неприступную стену утопающе-

го в собственной золотой пыли соснового бора. Но ничего подозрительного не обнаружил.

Проснувшуюся для новой жизни тайгу наполняли все тот же хор радостно щебечущих птиц, шорох легкого, игривого ветерка да нарастающий рокот самолёта.

«Теперь уж переплыли реку, а за нею — малинники. Прошлогодня ягода осыпалась и в земле растворилась, так хоть молодые листочки пожуют. Тоже кушанье. Там и лосиных троп не считано... Славненько, умница! Если и вернется, то не раньше осени — понежить медвежат еще одну спячку под горячим мамкиным брюхом. Завтра же постараюсь отыскать её берлогу. Где-то неподалеку. Заодно глухаринные гнезда проведаю. Скоро самки крепко усядутся на них. Беспокоить — ни-ни! Испугаются, слетят с гнезда — и на вольные хлеба. Этим высиживание и закончится. Эх! Скорее бы на токовище. Но раз уж привез своих любимых глухарочку с глухаренком, придется подождать. Прежде покажу им тайгу весеннюю. Ни в каком кино такой отрады не видывал...».

Вспомнив Ольгин разговор с дочкой о гибели парней с соседней буровой, взгрустнул.

«Какая безумная халатность! Тайга — не городской парк и не березовая роща у села. В ней, слава Богу, разного зверья — не счесть. Она мать им и дом родной. При ней выживают, множатся. Тут всякий зверь — хозяин, а мы лишь непрощенные гости».

... **В** недрах Эвенкии исстари скрываются несметные природные кладовые. Вслед за изысканиями и разработкой уникальных залежей исландского шпата, начался поиск нефти и газа. Разведчики черного золота бурят скважины от Ванавар до Куюмбы и ниже по Тунгуске. Вахтовые станы тянутся вдоль реки близ поселков и оленеводческих стойбищ. Только в округе Байкита их около десятка. Рядом с буровыми в балках проживают бригады вахтовиков. Люди — с материка, приезжие. Молодежь из ближайших эвенкийских факторий нефтяники берут к себе неохотно. Не обучены. Лишь изредка кому-то повезет, как Андрею. «Толковый и здоровяк. Берем!» Остальные после интернатов возвращаются в оленеводческие стойбища, к исконным промыслам — труду бесценному, но тяжкому. На грани ежедневного подвига в суровых условиях тайги и севера. Труд, мало оплачиваемому, без выходных и бытовых удобств.

... **П**осле майских праздников с вахтовой бригадой прилетели два молодых бурильщика: Антон Ильин и Есимхан Жангалиев. Веселые, добродушные, спортивные парни, родом из оренбургских степей. И на третий день после приезда, отработав смену, никого не предупредив, решили самостоятельно познакомиться с тайгой. Погода стояла, куда лучше — тихая, солнечная, манящая. До сумерек оста-

валось не менее трех часов. Вполне достаточно для первой прогулки.

Местные жители знают, как опасна весенняя тайга с энцефалитными клещами, заснеженными и потому не видимыми глазу горными трещинами и разломами, топкими болотами. Да и рельеф — скалы, взгорки, низины. Попробуй, докричись! Встреча с голодным, не насытившимся после зимы зверьем тоже не подарок: медведи после спячки, вечно голодные волки и росомахи...

Знали, думали ли об этом парни? Может, в их краях и леса-то нет... Но позже товарищи по бригаде скажут, что сто раз говорено было, предупреждали...

Наступила ночь, а парни не возвращались. Бригадир забил тревогу. Мужики разложили костры, палили из ружей, но ни утром, ни днем новички не обнаружались. Тогда бригадир доложил начальству в Байкит. Подняли на поиски Антона и Есимхана вертолеты нефтеразведки, которые посменно бороздили эвенкийское небо вдоль и поперек. От рассвета и до темноты. И так кружили они над тайгой неделю...

Бригада, оповещенные по радиации геологи и охотники тоже помогали искать парней, оставляя у зарубок на деревьях продукты, теплую одежду, спички и коробочки сухого спирта. Создавали коридоры спасения, обозначая их лентами располосованных простыней. Безрезультатно.

В районном отделении милиции завели уголовное дело. Следователь с пристрастием допросил каждого, кто проживал на станции. Появились разные версии, в том числе и криминальные.

На шестой день исчезновения Ильина и Жангалиева проходивший мимо буровой охотник — эвенк спросил у бригадира: «Не пропадали ли в последние дни люди?». И подробно рассказал, как три дня назад, в двух-трех километрах отсюда, встретил огромного медведя, жертвой которого едва не стал. Зверь, видно, давно следил за ним, шел по пятам. Подстерег и набросился на охотника за выступом скалы.

«Как только увидел близко его морду, понял: этот зверь, однако, знает вкус сладкого мяса. За тридцать лет промысла с медведями-людоедами пришлось встретиться два раза. Обычный медведь за версту чует человека, старается разойтись с ним мирно. Так бывало. Этот же, громада, шел на задних лапах прямо на меня. Дико ревел, мотал головой. Из перекошенного рта летела на камни липкая желтая пена. Потом он, однако, сиганул на меня. Я успел вскинуть карабин и полоснул его по голове. Попал точно. С перепугу я высоко, однако, прыгнул. Медведь рухнул замертво, а я приземлился прямо на него. Когда разделывал тушу, в желудке обнаружил клочки волос. Может, и человеческие... Черные и светлые».

Двух пропавших друзей в бригаде так и называли в шутку: белый и черный. Улику переправили следователю на экспертизу. Поиски прекратились. Какая на самом деле с бурильщиками приключилась трагедия, теперь уж никто не узнает...

«Жаль ребят, но таковы жесткие правила тайги: побеждает умный, сильный, осторожный».

Андрей заторопился в зимовье и повел своё семейство на прогулку. Заряженное ружье скрывала от Настенькиных глаз брезентовая куртка.

— Подрастешь дочка, пойдём к тому месту, где упал Тунгусский метеорит. Сто лет уж скоро, как про это чудо света узнал весь мир. А мы рядом — и только газетки о нем почитываем. Хо-чу-у сам по-гля-деть! Руками потрогать! Вдруг не экспедициям ученым, а нам, истым Амосовым, метеорит подмигнет сверкающим осколком неизвестного металла или закачается перед Настеной замшелой вековой глыбой?

— Пап! А это далеко? — Насте явно понравилась его задумка. Глазенки её заблестели.

— Отсюда — да. Сначала пойдём на моторке вверх по Тунгуске до Ванавар. Дальше вертолетом до Пристани. Найдём дядю проводника и потопаем пешочком дальше в приангарскую глухомань. Насколько знаю, до Тунгуса добираться несколько дней с ночевками.

Андрей почувствовал, как возгорается в нем давняя мечта.

— Ты знаешь, малышка, почему назвали его Тунгусским?

— Дочка сосредоточенно молчала.

— Он упал-то у Тунгуски, рукой подать!

— Пап, а Енисей длиннее нашей Тунгуски?

— Как думаешь, я больше мамы?

— У— у-у!

— Вот и он, батюшка, такой же могучий! —

Андрей ухмыльнулся своему сравнению, а Оля в ответ заливисто рассмеялась.

— Ну, ты даешь! Сравнил тоже... А с поездкой к метеориту здорово придумал.

— Может, там медведицу с медвежатами и их папой встретим, наших... — с грустинкой в голосе размечталась Настя. — Или в их тайге живут только плохие медведи? Сердитые? Как у дедушки Толстого!

— Кого тебе бояться-то, я же с ружьем!

— Нечестно, пап! У медведей ружья нет!

— Андрей серьезно посмотрел на дочь и впервые удивился тому, как умно устроено это маленькое человеческое чудо — ребенок.

— А я его в рюкзаке понесу. На всякий случай. Вдруг какой-нибудь дядя-мишка шалить начнет.

Дочка одобрительно закивала головкой.

Андрей с детства любил ружья. В доме их всегда было три-четыре. Это от отца, промыслового охотника. И, когда сам начал

охотиться, нередко сталкивался с непростым чувством справедливости в охотничьих делах. Порой нелегко дается эта золотая середина. Из-за неуместной жалости можно стать желанным обедом голодному, атакующему зверю. Но, имея надежного защитника — ружье, жалко убивать зверя за то, что ему дано природой: не ленись, побеждай, наслаждайся вволю добытым кормом, только так сможешь выжить и размножаться. Жалко! И, слава Богу, что такая крайняя необходимость, когда всё же приходилось убивать, случалась редко. Чаще удавалось найти мирный исход недружелюбной встречи человека и зверя. Побеждал разум.

Амосовы долго гуляли по благодатному, благоухающему ароматами и красками весны угодию. Взбирались на кедровые взгорки, вслушивались в озорные, залихватские трели опьяненных теплом птиц, опускались к дымящему испариной болоту и считали бугристые кочки с зазеленевшей на них щетиной осоки. Ходили легко и весело. Для вечернего чая набрали охапку белого вереска и пучок лакированных листочков брусники. Оля спрятала в холщевую сумку несколько стебельков медоносного очитока. Горького-прегорького, но о-о-очень полезного. Его настоем, при кочевой жизни по стойбищам, отец Вэнко приучил её еще в далеком детстве опрыскивать чум и посуду: «Злых духов и малярию гонит». Те-

перь она исполняет отцовский наказ на всех зимовьях.

День поклонился закату. Натруженное красное солнышко устало повисло на вершине Медвежьей горы. Скукоженные таежные тени торопливо прятались под нижние ветки деревьев, в разверзшиеся ущелья и к подножию скал.

В избушку заходить не хотелось. Андрей разжег костер на небольшой опушке у зимовья, окаймив его подковой пахучего лапника. Свежий ветерок уносил в угасающее небо голубые змейки смолистого дыма. Чуткое, многоголосое эхо катило их шумное веселье в далекую глубь леса. Пекли в золе картошку, жарили шашлыки. Играли в прятки и «каравай». А когда пришла пора отправляться Насте ко сну, та придумывала одну отговорку за другой, только бы не отходить от первого в её жизни чарующего костра. Он явился настоящим чудом: метал огненные стрелы в бездонную высь, таинственно потрескивал и угрожающе шипел, распластывал по кругу жалящие языки искрометного пламени. И только убаюканная звездным шатром, она уснула, свернувшись калачиком на пихтовой лапе. Во сне маленькая северянка вздрагивала. Наверное, от пережитого таежного дня то вскрикивала, разговаривая с птичкой, то подзывала к себе шkodливых медвежат.

... Это дальше зимовье Андрей ставил с отцом, будучи подростком. И теперь стройка помнилась ему до мелочей: валили листвяки, подбирали их одна к одной по объёму ствола, шкурили, долбили тесаками пазы... Отцу хотелось, чтобы изба была просторнее, чем та, ближняя, срубленная им в молодые годы. Он, вроде, жалел её порушить. Завалившаяся на подмытый талой водой бок, видно, она напоминала ему о многом, худом и добром. О единственной в его жизни любви... Отец в те годы не имел своего уголья. Поставил избу вблизи поселка для охотничьих нужд. Позже, на собственных таежных просторах, срубил с сыновьями еще три: ладненьких, утепленных, с емкими лабазами для зимней охоты на соболей и прочую пушнину. Здесь, в доставшемся Андрею от отца уголье — в медвежьем закоулке — полно всякого зверья. Одних берлог двенадцать...

Дмитрий Амосов, потомственный охотник, знал свою тайгу вдоль и поперек. Как умел оберегал её на своем уголье. Приучил и трех сыновей почитать матушку и всех живущих в ней: «Понапрасну — не губи! Беззащитным — не вреди! На дармовое — не жадничай!

И погиб в тайге от браконьерской шальной пули, защищая любимых птиц. Погиб от злой руки человека, а не от дикого, ненасытного зверя, с которым прожил свой век бок о бок...

Щемящим сердцем помнил Андрей ту горестную весну, навсегда разлучившую с отцом, который был для него, мальчишки из таежной фактории, целым миром познаний и добра. В него еще предстояло Андрею войти. И нить туда оборвалась. Пришлось самому торить тропинку в один след. Без отца. Но в душе сына и тогда, и сейчас он жил и живет повелительным голосом предостережения, назиданием и примером. И не было дня, чтобы Андрей не вспомнил отца.

Отец — коренной северянин, рослый, широкоплечий, с копной темных, непослушных волос. Умный, услужливый, он со всеми находил нужный разговор. И где бы ни жил, был вожаком деревенских мужиков. Они липли к отцу, как шмели на сахар, роились вокруг него. В будние дни после работы — до полуночи в кузне. И на гуляньях не давали ему никакого продыху, то и дело прося петь давние сибирские песни. И он пел их величаво, картинно, лихо растянув ромашковые меха старенькой гармошки. Пел до полной хрипоты. Были мужики и поголосистей, но все почему-то требовали петь отца. Подпившие мужики не смело и не стройно подтягивали ему, кто, душевно улыбаясь, а кто, потаенно смахивая скупую слезу.

Дома отец никому не навязывал своего главенства. Безмерно любил жену, раскосую красавицу Людмилу, которую с друзьями выкрал

темной летней ночью из богатого чума. Отец девушки, уважаемый знатный оленевод Эмидак Монго, уже пообещал её в жены известному в Приангарье охотнику Онкоулю Момолю. Человек слова, он и слушать не хотел о другом зяте. И вовсе не потому, что Момоль давал за невесту десять оленей, десять ящиков водки и пятьдесят баргузинских соболей. Да на годовщину свадьбы обещал дарить Эмидаку каждое лето шкуру медведя и тушу сохатого. «Подумай, дочь! — уговаривал он Людмилу. — Завидный жених из древнего рода желает тебя в жены. Эвенк, как и мы. Он сын тайги. Все мы должны служить ей, кормилице. Как ты собираешься жить без неё и Энин-Буги, прародительницы нашей — оленихи-мамы?!».

Но к тому времени Дмитрий и Людмила уже любили друг друга и собирались пожениться. Познакомились они в Байките на слете молодых передовиков, где Дима в фойе клуба пел под гитару модную тогда песню «Главное, ребята, сердцем не стареть!». Напротив него стояла черноволосая девушка с распахнутыми, темнее ночи глазищами. Она откровенно смотрела на симпатичного гитариста. В какое-то мгновение её чарующий взгляд донес до Дмитрия такую ударную волну биотоков, что остановил песню. Солист забыл слова и, извинившись перед слушателями, отдав гитару в руки виновницы его провала, потянул её к выходу. Они бродили до вечера, рассказывая все о себе и ро-

дителях, доверительно делаясь самым сокровенным... Провожая Людмилу к лодке, присланной за ней отцом Эмидаком, Дмитрий так опечалился предстоящей разлукой, что забыл обо всем на свете. Сев вместе с девушкой в моторку, через час предстал перед её строгим отцом. Конечно же, оробел, ступешевался и сник. Успел только шепнуть избраннице, что его буровая неподалеку, и он будет каждый вечер ждать её на берегу реки у Лунной косы.

На первом же свидании Людмила сообщила ему о непреклонном решении отца породниться с Онкоулем Момолем. В середине лета должна состояться их свадьба. О Дмитрие Эмидак и не вспомнил. Дочь наотрез отказалась подчиниться воле отца, но он был непреклонен: «Не позорь наш род и мое имя! Я дал слово и сдержу его. А ты еще будешь благодарить меня за достойного мужа!» — на этом Монго прервал разговор, считая судьбу дочери уже решенной.

Дмитрий с Людмилой, спасая свою любовь, придумали, как устроить её побег, понимая, что он возможен только в отсутствии Эмидака. Люда сказала любимому, что отец должен уйти на дальние выпасы, где собирается с пастухами пополнять домашнее стадо дикими оленями. «Надо воспользоваться такой удачей! Возьмем с друзьями отгулы и будем

под видом рыбацкой артели дежурить у реки, ожидая тебя в любой час».

Вряд ли их затея увенчалась успехом, если бы выбор дочери не поддержала мать. Умный Эмидак, почувствовав в семье что-то неладное, под всякими предложениями оттягивал время ухода из стойбища. До намеченного дня приезда Онкоуля его оставалось немного. Мать Люды тайком готовила дочь к новой жизни. Набивала кули, шила новые дорогие одежды. Отец же, дотянув до сумерек последнего дня, не ушел в тайгу, а уплыл в Байкит встречать прилетающего утром Онкоуля. Этой ночью мать успела проводить из родного чума дочь. Вдруг повзрослевшая, озабоченная и зареванная, она до самого горизонта, почему-то по-птичьи — обеими руками, как крыльями — неустанно махала матери...

Людмила отплывала все дальше и дальше от родного берега. её покачивающийся на волнах силуэт вскоре исчез. Надолго. Навсегда...

Когда Людмила сообщила Дмитрию о третьей беременности, он обрадовался. Кружа её в объятиях по комнате, нежно целовал и пел. Их счастьем не было конца...

— Завтра же пошлю гонцов на стойбище. Пусть приезжают твои родители. Хватит дуться на нас деду Эмидаку. Скоро третьего внука подарим ему. И только утром спросил:

— Можно ли тебе рожать? Врачи и второго ребенка нам не разрешали!

— При моей-то силушке — грех, Митя, не рожать! И не беда, что медики страшат, мол, при моем отрицательном резус-факторе это большой риск. При первых родах ведь все было хорошо.

— И то правда. Близнецы-то наши, как кедрята, подрастают, как на опаре. Скоро им исполнится по два годика. Мужики! А тебе, знаю, хочется насладиться материнством еще раз. Рожай, рожай. И десятерых прокормлю.

Дмитрий беззаветно любил своих близняшек. Юрких черноглазиков, похожих на птенцов болотного черныша: смелых и крикливых. Не проходило и двух недель, как молодые чернышата уже летали над болотом. И его амосики, крепко встали на ножки, и года не было. Скоро начали лепетать, а потом и говорить. Растут — на одно лицо. Только мать скажет: кто есть кто. Отец Толю с Колей путал. Но папа хитрый. Ловко сообразил и Толе стал прикалывать сзади к рукаву маленькую булабочку. Люда удивлялась:

— Днем и ночью с ними, а терялась. Совсем недавно стала сыновей различать, и то благодаря вечно торчащим волосикам на макушке у Коли. Ты, Дима, как-то быстро...

— Как же, папа ведь! Кровь подсказывает! — улыбался довольный Дмитрий. Но при первой же стирке хитрушка обнаружилась.

— Дим! Твоя затесь чуть палец мне насквозь не проколола. Повинишься — бить не буду! — и ласково, примирительно потрепала его косматые вихри.

Редкие часы общения с малышами были для Дмитрия всегда желанными. Он полностью отдавался детским фантазиям сынишек. Они зарывали его у речки в песок, ставили на четвереньки и до своего полного изнеможения катались на отцовской спине. По вечерам раскрашивали под собачку, зайчика и Винни Пуха. Уставших, но не утомившихся, Дмитрий усаживал их на колени и читал сказки. Заканчивая очередную, расспрашивал Толю и Колю, что они запомнили. Мальчишки наперебой начинали улюлюкать. Гомону — на весь дом! Но Дмитрий терпеливо выслушивал и поддакивал, будто понимал их мало понятную, неразборчивую речь. Нежно гладил пушистые, смоляные головки.

В те годы семья Амосовых жила в затерянной меж высоких снегов и таежной глухомани Куюмбе. Дмитрий работал мастером на буровой, которая ажурной металлической пикой упиралась в небосклон в версте от заимки, за мысом Рыбачий. Там же зарабатывали нелегкий кусок хлеба все местные мужики. Круглый год Амосов добирался к буровой самостоятельно. Не хватало терпения дожидаться у конторы дежурного тягача, под-

возящего к месту работы и обратно в заимку дежурную бригаду. В пургу и стужу, когда и тайга-то смиренно, для тепла, укрывалась плотнее белым снежным покрывалом, Дмитрий пешком прокладывал свой след к кормилице. Так он называл буровую. Зимой, придя с работы, копался до полуночи в кузне, что-то мастерил, кому-то ладил салазки, кому-то чинил кухонную утварь. Делал это, можно сказать, принародно. Мужиков набивалось, двух лавок не хватало. Припозднившиеся рассаживались прямо на чистом лиственном полу. Бывало, под пугающие завывания сердитой метели мужские посиделки затягивались до первых петухов. Каждый приносил с собой чего-нибудь вкусенького, таежного. И все щедро угощались, закусывая первачок и слушая очередную рыбацкую или охотничью байку...

Людмила домовничала, присматривая за детьми. Готовилась к пополнению семейства. До родов оставалось два месяца. Надо бы в Байкит, врачу показаться, да погоды стояли жгучие, нелетные. Озверел морозище, затравленный северным иглистым ветерком. На этом адском холоде и металл крошился, как сталинит при ударе. Завьюженный по лопасти вертолет уныло дожидался, когда погода даст возможность, наконец-то, разогреться и подняться над бугристой белой бесконечностью...

...В тот день радужно искрящаяся алмазная изморозь соединила воедино небо и заимку. Пробивающееся к земле блеклым, рваным блином солнце чуть светило на затерянные в сугробах куюмбовские крыши. И только дымящиеся печные трубы да лабиринты протоптанных в один — два следа тропинок, да кое-где санный след, обозначали в снежном безмолвии живущих привычной жизнью северян.

У Людмилы внезапно начались схватки. Муж на работе, до соседей не докричатся. Она, наскоро одев притихших ребятишек, вышла на улицу. Кружилась голова, отнималась спина, усиливалась боль в низу живота. «Неужели роды...». Потом уже мало, что помнила. На неё с детьми наткнулась чья-то санная повозка и отвезла в медпункт. Это был повар с буровой, который передал на руки фельдшерицы Марии Ивановне теряющую сознание Людмилу. Сам помчался к Амосову.

В конторе нефтяников, в переднем углу, на сколоченной из тесаных досок тумбе стояла единственная в заимке старенькая рация, которая неплохо служила при умеренных морозах. Но тут радист Сеня, как ни старался, настроить её не смог. На санавиацию из Байкита рассчитывать не приходилось. В таких случаях Мария Ивановна не раз успешно и сама справлялась. Но сегодня все складывалось против роженицы: и резус-фактор, несовместимый с дитем, и кровотечение... Чудом ро-

дившийся мальчик едва дышал. Измученный и обессиливший от стимуляторов и рук Марии Ивановны, вытаскивающих его из тьмы на белый свет, он несколько минут не подавал признаков жизни, но позже зашевелился, раскричался.

Но мама Люда была уже не с ним...

Дмитрий почернел от горя. Счастливый, радостный мир с любимой исчез для него навсегда. И только трое желторотиков, любимых и желанных галчат, не дали свершиться грешным помыслам: незамедлительно последовать за женой... Сыновья заставляли его жить...

...Малыш то вздрагивал, жалобно всхлипывая, то в теплых отцовых руках на мгновение проваливался в сон. И снова по-щенячьи скулил, плакал, словно, как мог, опротестовывал свое насильственное, безвременное появление на свет. Без мамы...

Мария Ивановна, родившая на этом же столе медпункта трех дочек и кормившая грудью младшую, скрывшись за ширмой, пыталась успокоить новорожденного. Но тот отказался от её груди. Оставалось одно — искусственное вскармливание. И она старалась делать все, что было в её силах, опираясь на опыт и материнское чутье, только бы спасти его. До месяца не выписывала из стационара обездоленного Андрюшку, вскармливая его своим сцеженным в бутылочки молоком, лас-

ково называя «зятьком и крестником» и не доверяя никому заботу о нем. В свободные от приема минутки склонялась над кюветкой беспокойного, но самого дорогого пациента. Разговаривала с ним, приучала к молочным смесям, купала в травяных настоях. Городским летчикам заказывала разные детские премудрости, которые помогали Андрюше набираться силенок и расти.

Вскоре мальчик, вроде бы, смирился с новым, неласковым миром и принял непростое решение — остаться в нем. Почти не плакал. Бодрствуя, начинал призывно агукать, искал черными, раскосыми мамиными глазенками добрую тетю. Насытившись, восполнял недостающее ему по праву сном. Просыпаясь голодным волчонком, аппетитно причмокивая, опустошал теплые тети Машины бутылочки. Малыш крепчал!

Дмитрий взял бессрочный отпуск по уходу за детьми. Не отходил от крохи ни на минуту, взяв на себя и ночные кормления. О старшеньких заботилась его рано овдовевшая, бездетная сестра Соня. Прилетев из Крыма на похороны и видя нуждающихся в её помощи сирот, осталась жить у брата. А папа Дима учился быть для младшенького, хоть чуточку, мамой...

...Однажды отец привез в дом маленького лосенка, названного им Валькой. Тот едва держался на высоких, дрожащих и непослушных ногах. Видимо, он был у лосихи вто-

рым теленком, по воле судьбы или случая отбившимся от нее. Отец нашел и высвободил малыша из плена весеннего распада. Вальке было менее недели от роду, и он очень ослаб, пытаясь выкарабкаться на сушу. Но скользкий, трухлявый сушняк, обламывался под ним, крошился и тянул в студеную талую воду. Не случись встречи с отцом — ему бы не жить! Согрешившись в протопленной бане, напившись коровьего молока и отоспавшись на старом отцовском полушубке, Валька быстро освоился. Шустро бегал по подворью, брыкался, высоко подпрыгивал и бодал забор. Но больше других любил тетю Сою. Стоило ей спуститься с крыльца, как чуткий Валька оставлял забавы, мчался к ней стрелой и облизывал всю, тычась симпатичной мордочкой в живот. А когда она выносила лосёнку пойло — молоко с кусочками размоченного хлеба, он готов был расплестись перед нею, на лету хватая и засасывая в рот края цветастого клеенчатого фартука.

Прислонив ведро к забору, тетя Соня ногами и руками пыталась удержать его в стоячем положении, так как Валька, прежде, чем приступить к кормежке, старался поддать «долгожданному» со всех сторон и только тогда окунал в него свою ушастую мордочку. Изредка телок высовывался из ведра, чтобы хлебнуть воздуха. При этом громко сопел, фыркал и мотал головой. Все бросали дела и с восторгом наблюдали за ним. К концу корм-

ления Валька был от копыт до холки в молоке и крошках. Пойла хватало на всех. Лобастый шустрик не по разу благодарно обегал мальчишеский круг, оставляя на каждом печать признательности и изрядно испачкав одежду. Тогда за сутки он набирал около двух килограммов привеса.

...Осенью отец навсегда разлучил детей с любимцем. Увёз, быстрогого, сильного, упитанного, с заметно отрастающими рожками, на дальнее зимовье за Медвежьё гору. И как-то, год спустя, они повстречались на узкой каменистой лосиной тропе. Отец узнал его издали. Но Валька остановился первым. Задрав голову, долго смотрел на идущего навстречу человека. Чувственными, влажными и волосатыми ноздрями втягивал глубоко в себя летящий от него ветерок. В раздумье переминался с ноги на ногу, хрипло мычал, прижимаясь крупом к поросшему лишайником скальному выступу. Замирал, словно что-то сопоставляя и припоминая.

Отец остановился в десяти шагах от могучего красавца, протянул ему руку и тихо позвал: «Валька! Валька...». И тут же, вздыбив копытами известняковую пыль, лось ринулся к своему спасителю. Приблизившись вплотную, несколько раз обошел отца, помотал головой, словно хвастаясь высокими, ветвистыми рогами. Потом, добродушно хукая и сопя, как в детстве, осторожно прижался к нему торсом и стал лизать лопатис-

тым, розовым языком отцовы руки лицо и фуфайку. В холке Валька вымахал под два метра и весил около полтонны.

Расчувствованный благодарной памятью, отец дрожащей рукой гладил доверчивую, тычущуюся в него Валькину морду. Тот замирал от удовольствия, когда добрый человек ласково трепал его за длинные уши, теребил свисающую на грудь клином густую, шелковистую бороду, одобрительно хлопал ладошками по сильным, стройным ногам. Так они долго, близко общались, наслаждаясь неожиданной и счастливой встречей, понимая, говоря друг с другом на языке идущих от сердца звуков и выразительных телодвижений. И разошлись в разные стороны медленно, неохотно, будто, наперед зная, что никогда уже их тропы не пересекутся...

Усыпив Настеньку и убедившись, что им с Ольгой ничто не угрожает, Андрей решил налегке пробежаться к токовищу. На послух. В надежде, что место тока после прошлогоднего происшествия на песчанике осталось прежним. «Если не слетят на новое, то подтянулись к нему на вечерней зорьке».

— Оленька, душа горит, весь там, с глухарями. До утра не дотерплю. Слетаю мигом туда и обратно. Тут всего-то тысяча семь шагов. С часок-другой посижу, послушаю. Отведу душу. А ты запри дверь на засовы и спи. На крючке за шторкой оставляю карабин. Умеешь ведь. Если что — лампу не запаливай. Приот-

крой окошко — и очередь вверх. Услышу. Только бояться, вроде, некого. Медведица с медвежатами за рекой. Ближе к прокорму. Там у лосих отел в разгаре. Сама понимаешь... Обо мне не беспокойся. Ночью проведу вас.

И пошел по заболоченной тайге, окаймленной сухой, гористой гривой соснового бора. Сгущались сумерки, но угасающее небо еще светилось в кронах деревьев. Три березки у тропы, чудом прилепившиеся к подгорью, прошуршали атласом первой ароматной листвы. Потрепав гибкие, нежные веточки, Андрей постоял у белоствольных подружек, вслушиваясь в перезвон их говорливых шоколадных сережек. «А за скалой с северной стороны березки не распустились. Завтра к ним наведемся. Напою Настюху соком».

... **П**рошлым сентябрем Андрей пригласил двух городских парней из бригады на глухариную охоту. Все, что знал о ней от отца, рассказал и показал им. Привел на это токовище и продолжал учить: «Не спешите стрелять. Насмотритесь, послушайте. Когда еще удастся соприкоснуться с таким чудом! Ищите изначалие песни: что-то вроде четких постукиваний: «тэ-ке...тэ-ке». Потом звуки сольются в короткую трель и... «Скжищи — скжищи — скжищи»! Слушайте дальше и ждите пятиколенную «чи-чи-фшя». Это и есть их миг глухоты перед безжалостной пулей. Глухарь, как говорил отец, на рану кре-

пок. Его ахиллесова пята — в основании крыла. Хотя современные ружья намного мощнее прежних... Но не будем о грустном. Следуйте за глухарем сердцем. Сердцем же запоминайте все неповторимые колена так волнующей охотника песни».

Над токовищем сгущались сумерки. Урман становился темнее и тише. Только чернозобый дрозд нет-нет да и затянет свое нервное пение, прерываемое трескучей позывкой «ка...ка». Впереди короткая ночь. Неподалеку от тока разбили палатку. Андрей разложил уютный «токо — костерок». До трех часов ночи тянулась тихая, приглушенная беседа за травяным чаем. Но чуть посерело небо, екнула, встревожилась амосовская охотничья душа: «Вот что, мужики, ружья за спины и вперед!»

Они, крадучись, гуськом, направились к выбранному засветло схрону. Услышав со спины нарастающий свист, Тарасов остановился и боязливо спросил у Андрея: «Что это?!» Тот чуть слышно и нервно оборвал его: «Молчи ты! Говорил же — ни звука! Глухарь летит». Обернувшись на лопотание крыльев, увидел спешащего на свидание самца. Следом за ним пролетели еще три. Потом пятый, седьмой... «Славненько натокуемся!» Порадовался бывалый охотник. Птицы разлетались по разные стороны тока и ныряли в черную крону деревьев. Дойдя до места, Андрей услышал звуки, скорее напоминающие негромкое

щебетание пичужки, чем запев царственного глухаря. И... первая, долгожданная песня пролилась в ночь...

Чуть ближе на сухой осине раздалось отчетливое «тэ-ке...тэке», пение учащалось. Отрывистые, трудно воспроизводимые звуки уже сливались в мелодичную трель, мягко, без паузы, переходящую в собственно песню, более чувственную, нежную...

Парни не раз порывались к поющим соснам, но Андрей удерживал их, грозя увесистым кулачищем. И только в первых лучах разгорающейся зорьки отпустил их от себя. А сам, затаившись, продолжал слушать душой и утопать в чарующей глухариной симфонии.

И вот точения любострастцев стали редкими, одинокими. Амосов решил начать охоту. Прислушавшись к солисту на кружевной лиственнице, сделал несколько подскоков к ней и растворился в её шелковистых ветках. У него над головой «точил» матерый самец. Терпеливо прослушав несколько его песен, Андрей дождался для себя стартовых «чи-чифшя» и хвостового щелчка — «пыррр». Что-то теплое тут же коснулось кончика его носа. «Спасибо! Будем считать — к удаче». И выстрелил. Не подходя к шумно упавшему к ногам глухарю, узрел в пятнадцати шагах низко сидящего на раздвоенном суку старой ели еще одного, поющего...

Тарасов и Смоляков за две предрассветных зорьки тоже положили в рюкзаки по два уве-

систых самца. Андрей считал это даже избыточным отстрелом для удовлетворения охотничьего азарта. В оставшееся время охотникам всегда есть, чем заняться: насладиться осенними дарами и красотами пылающей багрянцем тайги, отогреть душу у магических костров, омыть её небесной чистотой звездного шатра... Почувствовать себя частичкой природы и послужить ей...

Во второй половине воскресного дня, перед отъездом в поселок, хозяин повел гостей к речке на песчаник, где сытые, непуганые глухари, готовясь к скорой зиме и грубой пище, набивали безмерные желудки галькой. В момент гальчевания они всегда были так увлечены, так доверчиво беспечны, что любая жесточая, бездумная рука могла в один миг уничтожить целые группы и выводки. При таких обстоятельствах и погиб его отец, знаменитый эвенкийский охотник Дмитрий Амосов...

На суде преступники скажут, что он сам схватился за дуло, не давая убивать птиц, и произошел самопроизвольный выстрел...

На песчаник слетелось около сотни прекрасных и гордых птиц. Величавые буро-рыжие копалухи, сизо-бурые, краснобровые самцы и вечно дерущийся молодняк.

Присев на песок, Андрей наблюдал редкостную картину их «галечного» отрешения и не заметил вскинутые ружья гостей. Войдя в раж, браконьеры устроили настоящую бой-

ню, запихивая и уминая в припасенные кули самых крупных птиц...

Амосов обезумел от горя, как будто на глазах погибали один за другим родные, близкие люди...А его самого беспричинно и безнаказанно изваляли в дерьме...

Чтобы остановить этот кошмар, он выпустил из карабина несколько очередей вверх, а потом повёл стволом ниже: «Пристрелю подлецов, если не уйметесь!». Трусоватые браконьеры, побросав ружья, кинулись бежать к «Ниве», волоча за собой кули...

Оставшись на берегу, Андрей упал на окровавленный галечник и долго, безутешно рыдал под разрывающие душу крики подранков...

На следующий же день перевелся в другую бригаду, только бы не видеть ненавистные ему лица.

С того ужасного дня прошло чуть менее года. И что-то подсказывало Амосову: глухари с тока не слетели. Остались с ним. В подтверждение его надежд над головой, тяжело резанув густой, влажный воздух, дотягивал последние метры крупный самец. Взволнованный встречей, Андрей, безо всякой осторожности, словно привязанный тысячью невидимых нитей к роскошным крыльям спешащего глухаря, с затаенным дыханием, длинными бесшумными прыжками, стал приближаться к сосне, надежно укрывшей ветками сладколюбца. Но

не успел еще коснуться смолистого ствола, как глухарь, почуявший неладное, стремительно взлетел вверх.

«Вот дурак же я! Так и не научился справляться с собою! Млею, теряю голову. И не учил ли меня отец подскокам к этой чуткой птице!» Поругав себя, ползком добрался к центру токовища и спрятался в отяжелевших соком развесистых лапах ели. Отдышался, успокоился и стал вслушиваться в звенящую вокруг тишину, легкими молоточками бьющуюся в его виски. Крыльями влюбленного мотылька трепетало взволнованное сердце и билось, пульсировало во всем теле. Приближались лучшие минуты его охотничьих забав!

Андрей благодворил эту древнюю, таинственную, удивительной красоты посланницу исчезнувших миров. Сколько перечитано, переслушано от отца и самим узнано о ней, но глухарь по-прежнему оставался для него непознанной, неповторимой загадкой тайги. Он не смог и, наверное, никогда не сможет утолить жажду познания глухарьиной сути. Не от мира сего, они завораживали и казались ему не земными, а по вселенскому благородству миллионы лет назад подаренными людям для утехи и любования истинной красотой...

Прямо перед собой Амосов увидел сразу несколько петухов, устремленных к квохчущим неподалеку в траве подругам.

«Умницы! Славненько! От добра — добра не ищут. Здесь все для них: безлюдная глушь,

ягодные болота и хвойники, близкий песчанник и глубокие снега лютой зимой».

Вернувшись в зимовье за полночь, Андрей долго не мог заснуть, перелистывая страницы ушедшего дня. «Завтра годовщина отца. Как всегда, в этот день мои мысли с ним и о нем». Придремнул часок на лавке и проснулся в непонятном волнении. Ночь еще сливалась с окошком. Выпил травяного настоя, пожевал черствого хлеба с салом, снял с крюка собранную с вечера сумку и разбудил Ольгу.

— Затвори двери. Спите спокойно. Скоро утро.

И нырнул за порог в обдавшую холодом, как из ушата, темень. Рассыпанные по черному небу яркие звезды, подбадривая, подмигивали ему разноцветными огоньками. Над тайгой звенела, покачиваясь и давя на слух, тишина.

Он шел легко и уверенно отцом протоптанной тропой, которую безошибочно узнал бы из десятка других по отклику шагов в ведреные деньки и в непогодь. Мягким ласковым шуршанием, поскрипыванием, постукиванием и легкой осыпью скалистых проходов тропа подбадривала, оберегала и предупреждала об опасности. Теперь она бесшумно стелилась под его скользящую поступь, лишь тихо, словно во сне, постанывая на крутых поворо-

тах. И с завязанными глазами Амосов дошел бы по ней до токовища.

За охотничий сезон они с отцом нахаживали вдоль и поперек уголья сотни верст. Знали все болота, низины и взгорки, как свой огород. Заштриховывали их на плане уголья зеленым карандашом, обозначив пунктиром натоптанные тропы. Но оставались и неизвестные, трудно доступные места, затушеванные черной пастой. Они-то, черные дыры, и манили к себе Андрея. Но один, без отца, в исконную, нетоптаную человеком тайгу идти не решался. «Вот вернутся братья-моряки в родные края, тогда держитесь, дыры! Скоренько у нас позеленеете».

Восток чуть высвечивал верхушки деревьев. Бодрящая лазоревая дымка просачивалась по стволам и уплотнялась до белевого света в их косматых кронах. В заросшем карликовым сосняком мыске, у заболоченного ручья, что меж кочек незаметно сползал в речку, послышалось громкое и злобное уханье филина. «Только этого разбойника не хватало! Не испортил бы мне предрассветного бала». Он, подростком, не раз наблюдал за лесными разбоями вошедших в раж филинов. Их уверенный, волнообразный, почти бесшумный полет низко над землей всегда увенчивался успехом. Жертвами оказывались зайцы, белки, нередко и глухари. Пронзенные мощными когтями хищника, они тут же испускали дух, окропляя

округу алой кровью. И, если филин потешится на току, охоте не бывать. Приходилось ждать новой зорьки и сомневаться, прилетят ли певцы вновь...

На глухариной охоте отец был непреклонен и строг. От него у глухарей не было никаких секретов. Его душа купалась в их песнях. Порой казалось, что и сам он вот-вот затэкекает. Заклинал не губить глухариные стаи на галечнике у речных отмелей и яров. «Такое же преступление, что дитя губить у материнского соска». Как мог, оберегал любимую птицу, приносящую ему ни с чем не сравнимую охотничью радость!

Бывало, приметив кормящихся самцов, безмолвно приказывал Андрею присесть на болотной кочке. И сам тут же замирал на короточках, чтобы не вспугнуть их. Смирившись с неподвижностью и безвредностью непрощенных гостей, птицы вновь припадали к ягодным кормушкам. Насытившись, обдавали ветром сильных крыльев изрядно подмоченных болотной жижей охотников и улетали. А на смену им подтягивались другие собратья по токовищу. Отцу и сыну хорошо были видны их лоснящиеся бронзовые грудки и бойкие, озорные, с клюквенными бровями желто-рыжие глазки.

«Пап! У меня аж дух захватывает от этой красоты!» — тихо шептал сын. А тот лишь движением пальцев одобрял его восторг. И тела их вновь принимали позу склонившихся к

болоту пней. Так они могли часами наблюдать за реликтами, живущими на земле не одну сотню тысячелетий.

И, не дай Бог, при отце без надобности заломить ветку, сорвать жарок, пламенем костра подпалить ствол дерева или лапы хвойников. Даст такого пинка, мало не покажется. И скажет в след: «Топай домой, коль вести себя по-человечески не можешь!».

... По тайге разносились нестройные голоса ранних птах, когда Андрей добрался до схрона. Тюлиликал, радуясь новому утру, лесной куличок фифи. И вдруг откуда-то донеслось тихое, но четкое пение глухаря. Не успел он вывести и десятка сольных колен, как его поддержали перепевами в разных концах токовища сразу несколько самцов.

Андрей, по данному той горестной весной зароку, сегодня будет долго слушать отцовых любимцев и только в конце токования, на разгулявшейся зорьке, одним метким выстрелом откроет сезон.

Пришла, наконец, его охотничья пора. Прямо над схроном увидел летящего красавца. Тот чуть не снес могучими крыльями крышу из переплетенных тонких веток тальника и уселся неподалеку на нижние ветки сосны. Минутой позже глухарь уже заливался любовными трелями. Андрей, пытаясь растворить себя в сиреневом рассветном мареве, сделал к нему несколько бесшумных подскоков.

Добравшись до сосны, затаил дыхание и пропустил еще две ласкающие слух песни. И только потом, дождавшись заключительного аккорда «чи-чи-фшя», сразил глухаря. Тот смиренно ушел из жизни в момент сладострастия, ничего не видя и не слыша. Не мучился. Мощное, гроыхающее эхо, обгоняя выстрел, понеслось далеко за пределы тока.

Бойкий рассвет щедро лил розоватый свет на плывущие низко горбатые облака. Падающий с высоких небес пронзительный свет покачивался в потоках свежего ветерка, разливаясь бело-розовой акварелью по всей проснувшейся многоликой тайге. Любовные песни глухарей внезапно стихли, словно кто-то волшебной палочкой в одно мгновение оборвал их неповторимой красоты напев. И сразу ток наполнился громким, отрывистым и ненасытным «бок — бок-бок». Копалухи под укоризненное молчание своих возлюбленных шумно покидали любовное ложе. Картинно планируя над землей, они неторопливо разлетались по своим гнездовьям.

Андрей сидел у костра на закрайке тока. Здесь, в прискальном редколесье, на солнечной, защищенной от ветра стороне, он каждой весной привычно любовался еще одним неповторимым таежным чудом — сибирскими ярко оранжевыми жарками. Такой красоты роз он нигде не встречал!

«У зимовья только стебельки выбросили, а тут уж прелестью вовсю полощутся. Видать, холодновато им там, в густом хвойнике», — подумал он и прилег, отгородившись курткой от трескучего, жаркого костерка. Отдыхая, наслаждался легкой, переливчатой рябью пламенеющего цветочного моря.

Сушняк давно догорел. И только угасающее мерцание углей заставило Андрея с усилием оторвать взгляд от жарков и взяться за разделку глухаря.

По отцовой, теперь и своей привычке, никогда не приносил домой дичь в кровавом оперении. Выпотрошив внутренности, посолил и замуровал роскошную тушку в красную глину, как в тесто. Выкопал в кострище нужной глубины ямку, уложил на дно её дичь, засыпал горячей золой и сверху нагреб горкой горячих углей. Через час-полтора в такой «жаровне» глухарь подоспеет к столу. Его перьевая шубка снимется вместе с глиной, и останется только завернуть желтоватобелую тушку в чистую тряпицу. А всевидящей Настеньке, дотошной дочке таежника, не придется объяснять, кто убил такую красивую птичку...

Теперь у Андрея целых два часа свободного времени. Он направился по закрайку токовища осмотреть гнёзда копалух, в которых, по его подсчету, должны лежать от пяти до восьми яиц. Кладка заканчивалась. Вот и на березе лист крупнеет — верная примета. Скоро ко-

палухи накрепко привяжутся, вrastут в гнездовья и станут незаметными любопытному глазу. Денно и ночью будут бдеть и согревать яйца, лишь изредка в тихий сонный час слетают испить водицы и, если повезёт, покормятся каким-нибудь мелким живьём или набьют желудки кедровой хвоей.

«Любишь кататься, люби и саночки возить!», — почему-то припомнились Андрею слова известной песни. У глухарей отцовство тоже заканчивается любовными утехами, а все заботы о потомстве лягут на глухарок. Вылупившиеся в конце июня глухарята будут безумолку выпрашивать, требовать у матери корма. А дождавшись его, станут выхватывать один у другого, раздирать острыми коготками. И тут же мгновенно заглатывать, икая и давясь, несоразмерными с их глотками кусками, чтобы с трудом отвоеванную долю не успели отобрать ушлые собратья.

Каждому глухаренку надо непременно быстро расти крепким и сильным! Через месяц он «встанет на крыло» и совершит первый полет над своей колыбелью. А в сентябре навсегда распрощается с гнездовьем и теплом материнского крыла.

На окраине в заболоченном сосняке Андрей заметил первое гнездо. Видно, копалуха где-то кормилась. Он тихо подошел к нему, словно боясь нарушить покой зарождающихся жизнью. Семь крупных нарядных яиц, пасхально украшенных красно-коричневыми

пестринами, были заботливо прикрыты клочьями мха. «Еще день-два, и самка сядет». Едва успел отойти от гнезда, как дородная глухарка приземлилась на него. Громкое, настойчивое «бок-бок-бок», отгоняя Андрея прочь, еще долго ударялось о его спину...

Росистая утренняя тайга нежилась в первых лучах выкатившегося из-за скал золотисто-розового солнца. Душа Андрея купалась в весне и носилась вместе с нею над зеленым безбрежьем тайги. Это были редкие минуты полного единения его с лесным миром.

С небес на землю его вернул откуда-то издалека доносящийся непонятный шум, похожий на невнятный разговор вперемежку с надрывным стоном. Затрещал сушняк, и стон стал громче. «Кто-то идёт не по тропе. Не то человек, не то зверь». И все стихло.

«Неужели показалось?! Вроде, на мое угодые никто из местных не зарился и сюда не хаживал».

И вновь повторились те же смешанные воедино, но уже более отчетливые, усиливающиеся звуки. Андрей уловил, откуда они исходят. Замер, снял с плеча ружье. Оглядевшись по сторонам, увидел впереди не высокую, но пушистую пихтушку. Подойдя к ней, спрятался меж лапами и затаился.

«Надо переждать, послушать. Может, заплутал кто из геологов, они везде бродят...».

Прошло около получаса. Когда в третий раз затрещал валежник, Амосову стала ясно: кто-то движется в его сторону, периодически отдыхая или чем-то попутно занимаясь. Но его настораживал и беспокоил стон, теперь уж слышно — человеческий стон. «А, была — не была, пойду, а там разберемся!».

Он вылез из пихтушки и побежал навстречу тревожной неизвестности.

Прочитав в армейской газете приглашение на работу в Эвенкийскую нефтеразведку, Антон Ильин и Есимхан Жангалиев, родом из оренбургских степей, написали запрос и вскоре получили ответ, с приложенными к нему поименными вызовами. Им обещали бесплатную учебу на курсах, выплату подъемных и много разных северных льгот. По-братски сдружившиеся во взводе связистов Антон и Есимхан, решили и после армии не разлучаться. Ни при каких обстоятельствах. Так и невестам написали. Готовьтесь, мол, стать женами в далекой сказочной Эвенкии. Конечно, обоим хотелось поступить в институт, но обстоятельства пока не позволяли. Антона воспитывала мать. Есимхана тоже недавно остался без отца и надо было помогать матери растить младшую сестренку.

Эвенкия встретила их по-матерински радушно. Все обещанное в вызове было исполнено и подтверждено трудовым договором. Окончив в краевом центре месячные курсы бурильщиков, друзья на вахтовом самолете

прилетели в Байкит и приступили к работе. Здесь им нравилось все: простые, приветливые люди, порядочность деловых отношений и сытая жизнь. Эвенкийская тайга сразила их наповал. Нигде не видели таких красот. Загорелся: в первые же свободные часы от работы устроить «прописку» у таёжного костра.

Так и поступили...

Пробежав около полукилометра в направлении доносящегося все чаще стога, Андрей заметил лежащего под кустом рослого мужика в спортивном трико и ветровке.

— Эй, кто ты? — грубоватым баском окликнул.

— Я? Есимхан, не здешний. С буровой... Мы с другом заблудились. Недельку плутаем...

Парень пытался подняться, опираясь на две березовые палки, но не смог и отчаянно взревел.

— Где друг-то твой? — осторожничал, допытываясь, Андрей. В тайге всякое случилось.

— Здесь, недалеко... под кедром лежит.

— Что с ним?

— Полез на кедр и сорвался. Ослабли мы... Я еще ничего, терплю... Антона бы... скорее в больницу... Без сознания он...

«Конечно же! Это и есть те самые бурильщики, «съеденные медведем». Андрей заспешил к парню и помог встать.

— Обопрись на меня, отдохни. Вот радость-то! Живые! А вас ...

Он поперхнулся, не найдя в себе сил произнести что-либо из известного ему случая.

— Как же вы сюда дотопали? Напрямую от вашей буровой верст семьдесят, а по тайге — все двести!

— Не знаю... шли и шли... Вначале все было замечательно. Долго перебирались через ...ручей с завалами... — его слабый голос куда-то проваливался.

— Распадок?

— Да-да... распадок. За ним сразу... уперлись в большую горку... Кое-как на неё вскарабкались. А там старая пихтовая роща.

— Бор?

— Да-да, правильно, бор. Пихтовые корни, как руки, над землей переплелись. Прыгали, мы прыгали над ними. Удивлялись, шутили. Тогда еще нам весело было. Не заметили, как спустились в другой лес... Ели, сосны, красивые оранжевые, а может, желтые, маленькие розочки...

— Это жарки.

— Так вот они какие...жарки!...Нарвали букеты, идем, смеемся. И вдруг лес потемнел...

— У нас так! Спрячется солнышко за скалу, и сразу темень берет свое.

— Куда идти — не знаем. С собою взяли коробок спичек. Решили заночевать у костра. Говорят, утро мудренее... А проснулись — заждило. Кругом серо и сыро. Ни фига

не видно. Забрались под старую елку и просидели до вечера. Опять пришлось заночевать. А в остальные дни метались по лесу, как звери в клетке. Везде, вроде, были, знакомо все, а выйти к той первой пихтовой горе не смогли.

— Где там! Неопытному глазу, тут все на одно лицо. Как близнецы, один взгорок на другой похож, разве только деревья разные. Поди, отличи, пока не обвыкнешься. Мальчишкой сам не раз блудил тут. Колесил вокруг да около. Старшие братья находили меня и потом одного в тайгу не стали отпускать. Ну, что, Есимхан, отдышался? С ногой-то что будем делать? Давай, посмотрю. На курсах медицину проходил. Так, по верхам, для случая. А вертолеты не летали над вами?

— Нет, у меня отличный слух.

Андрей усадил парня на пень и, задрав до колен штанину:

— У-у, браток, да у тебя, Боже ж ты мой, какой пе-ре-ло-ми-ще! Как же ты шел?! Нога на глазах пухнет. Кость наружу торчит! А кровищи! Первым делом, постараемся остановить кровь. Не водица. И возьмёмся мастерить шины. Давно эта беда?

— На кедр вместе с Антоном полезли... Шишки высоко, а есть охота... Сначала под ним сук обломился. Смотрю, лежит, не встает, как мертвый... Я заспешил вниз и тоже сорвался... шлепнулся боком, а нога по камню скользнула. С горяча встал на неё и к

Антону... Он дышит, но в себя не приходит. Потом выстрел услышал... Наверное, ваш? Как из пушки. Обрадовался, вскочил, а идти не смог. Пополз... Потом палки высмотрел... Куда я, без палок...

Андрей перевязал ему рваную рану своей чистой рубахой, выстрогал ножом из сухой осины две шины, наложил от лодыжки до бедра и крепко примотал их к ноге.

— Ладно, держись! Надо торопиться. Отведу тебя к костру и начну искать Антона. А ты не стесняйся. Держись одной рукой за меня, другой опирайся на палки и потихоньку скачи.

Они медленно продвигались к токовищу. Шины немного притупили боль, но она все равно была невыносимой. Есимхан в кровь искусал губы, и, периодически взывая, продолжал скакать. Чтобы как-то отвлечь его, Андрей продолжал говорить с ним.

— Я тоже бурильщик, с соседней буровой. Зовут меня Андреем. Амосов. А здесь мое угодье. В двух верстах и зимовье стоит. От Байкита — самое дальнее. За ним начинается ничейная, не хоженная тайга. Повезло вам с другом крепко, при ваших-то болячках... А всё отец! И тут добром людям послужил.

— Он с вами?

— Да не выкай ты! Считай, товарищи по работе, а выкаешь... Отца пять лет уж, как нет. Погиб тут у речки, на песчанике...

— Прости...те... Привыкну... — и закашлялся.

— Дорогу к Антону помнишь?

— Да-да. От кедра до места, где ты нашел меня, рвал рубаху и привязывал тряпки к веткам. Скоро найдешь.

— Вижу. Подожди нас с Антоном тут или потихоньку прыгай к костру. Видишь впереди кострище? А я — к Антону.

— Мне чем-то помочь...на четвереньках ползти смогу...

— Ты в своем уме! Ну, дружище, придумал! На четвереньках! С твоими-то ранами?! Сам справлюсь. А ты не храбрись. У тебя с ногой очень серьезно. Потом, мужик я о-го-го! Бог силушкой не обидел.

И бегом направился в указанном Есимханом направлении.

«Надо спешить! Всякого зверья полно. Почуют кровь — не побрезгуют».

Через полчаса увидел сидящего под кедром Антона. Тот сиплым голосом звал Есимхана, стонал, его рвало сгустками запекшейся крови.

— Мы с другом — рабочие... из нефтеразведки... Заблудились... А вы кто?!— тихо спросил он, смотря мутными глазами на Андрея. И опять потерял сознание.

Андрей сломил огромную лапу с ближайшей пихты, уложил на неё Антона. Перехватил под мышками своим ремнем и, поминутно оборачиваясь, торопясь, потянул его к

костру. Тот лежал недвижимо, не подавая голоса.

Когда Амосов с Антоном добрался до места, Есимхан, постанывая, уже лежал у костра.

— Как он?!

— Приходил в сознание. Даже произнес несколько слов. Но по дороге сюда не отзывался.

— Вы быстро вернулись, а я вот только добрался.

Последние метры кое-как дались. Руки совсем обессилили... Нога ... Хоть криком кричи... Терпения не хватает...

Андрей разгреб золу и достал глухаря. Вызволил его из «тулупа» и глубоко проколол сухой веткой.

— Готов, красавец, готов! Давай-ка, Есимхан, подкрепись.

— Неделю на подножном корму... можно ли... мясо? — он заметно слабел, и голос был еле слышен.

— Чуть-чуть не повредит. Дичь! В пакете возьмешь хлеб и брусничную воду.

А сам намочил чистую тряпку, приготовленную им под глухаря, и приложил ко лбу Антона. Тот открыл глаза. С трудом приподнялся на локтях.

— Где я?

— Обрадованный Есимхан подполз к нему.

— Антоша! Нас нашли. Мы будем... жить!

Но друг опять отключился. Андрей поровнее уложил его у костра и прикрыл своей курткой.

— Наверное, сотрясение. У меня в детстве такое случалось, когда с отцом шишковали. Тошнило, себя не помнил. Ну, крепитесь, мужики! И ждите. Вот тебе, Есимхан, на всякий случай ружье. Стрелять-то приходилось?

— Только демобилизовались. И дома на гусей и уток ходил.

— Вот и славненько. А я мигом. Постараюсь уазик поближе подогнать.

Есимхан поднял на него кричащие от боли, полные слез и мольбы глаза.

— Спасибо. Сам Аллах послал тебя к нам...

— Спасибо — потом. А сейчас — ешь! — и подал ему в руки ножку глухаря.

Озорные, горячие лучи кувыркались в мохнатых шапках хвойников, ласкали душистое таежное разнотравье. Глубокие расщелины, непрогретые ручейки и болото дымились легкой утренней испариной.

Подбежав к зимовью, Андрей окликнул Ольгу.

— Ты что-то забыл или...?! — заспанная, в пижаме, она испуганно смотрела на мужа.

— Да! Случилось! Случилось! Они живы!

— Кто «они»? О ком ты?!

— Парни с буровой живы! А ты страшилок про медведя дочке нарасказывала.

— Где они?!

— У костра, на токовище. У одного сломана нога, кашляет, другой без сознания. Оба неудачно упали с кедра. Изголодались, вот и полезли. Натрясли с десяток шишек, а сил людски спуститься не хватило. Расшиблись. Быстро собирай Настюху и подготовь её — они в крови. Захвати сердечные капли из аптечки, что вчера впрок привез. И пару простыней. А я пока заведу уазик. Заберем их и помчимся в больницу. Настрадались, бедные... Соображаю, как подъехать поближе к ним.

— Без дороги-то?

— Прорвемся, мать! Не теряй времени попусту. На все — провсе — пять минут!

И, наполнив из канистры до краев бак, резво подогнал «коня» к двери зимовья.

Недоспавшая Настя капризничала и скулила, грозясь отцу уйти жить к медвежатам. Но, узнав от него, что они едут забирать дядей, тех самых, которых вовсе не съел медведь, как думала мама, дочь замолчала. Задумавшись о чем-то серьезном, долго не подавала голоса. Но потом всё же решилась:

— Говорила! Говорила тебе, папочка, что медведи добрые и человек не едят. А ты не пустил меня поиграть с медвежатами!

— Ладно, дочь! Не время для споров. Летом обещаю показать тебе «Роев ручей». Так называется Красноярский зоопарк. Там живут разные птицы и звери.

— И медведи?!

— И медведи. Посмотришь их поближе, общаешься. Спросишь у дяди экскурсовода, можно ли деткам подходить к мишкам в лесу, договорились? Он обязательно тебе ответит.

Настя примирительно что-то прощebetала и стала рассказывать, как во сне играла с медвежатами в догонялки.

Машину кидало по таежному бездорожью. Андрей едва управлялся с рулем и увертывался от летящих под колеса деревьев. Ему удалось-таки почти вплотную подъехать к измученным, израненным пленникам тайги.

Есимхан сидел, держа на коленях голову спящего, или опять провалившегося в небытие друга. Заметив уазик, заулыбался и приветливо замахал руками. Амосов помог ему забраться на заднее сидение. И бережно уложил рядом Антона. Его пришлось привязать простынями к стойке, чтобы не свалился на поворотах.

— Ну, конь мой, буланый! Скачи по горам и долам домой! Держитесь крепче. Будем спешить! — и, обернувшись к Есимхану, весело подбодрил его. — Все, брат, устаканится. Костлявая проскочила мимо!

Его душа ликовала. Как же иначе! Такое чудо свершилось у него на глазах впервые. Две спасенных молодых жизни! Страшно подумать, что было бы с ними, если бы не годовщина отца...

В больнице сделался небывалый переполох. К парням сбежались врачи, медсестры и остальное болящее, но ходячее население. В поселке от мала до велика давно уж оплакали их. И вот-те на! Приказавшие жить — воскресли! Люди неумемно и искренне радовались. Кто послабее, не стесняясь, вытирал слезы. Но каждый восторгался стойкостью ребят, достойно проглотивших первый, пусть горький ком таежного блина.

Антон переложили на качалку и тот час же отправили в хирургическое отделение, а державшегося из последних сил Есимхана народ никак не хотел отпускать. И только строгий голос травматолога прекратил общение с героем.

Ольга с Настей стояли у машины и вместе со всеми восторженно ликовали.

— Спроси, Оля, у врачей, может, что надо из лекарств, и идите с дочей домой, а я съезжу в милицию и в нефтеразведку.

Сотрудники райотдела милиции толпились в кабинете начальника. Вопросам-расспросам не было конца.

— Вот так-то! Мордой об асфальт учит нас жизнь, как не следует без веских на то оснований людям ярлыки навешивать! А мы?! Толком ни в чем не разобрались, и приостановили дело до получения результатов экспертизы. По сути, подтолкнули нефтяников к решению прекратить поиски. Мы первыми предали ре-

бят. Отдали их на откуп случаю. Хорошо, Амосов оказался там. Бесстрашный, с трезвым рассудком. Другой бы драпанул к зимовью семью охранять.

На прощание полковник пожал Андрею руку.

— С виновными разберёмся. Такое, к сожалению, случается. А ты молодчина!

И Андрей заторопился в свою контору. Там тоже стоял шум до потолка. Полковник уже сообщил Чашину, что Амосов нашел Ильина и Жангалиева живыми! Тот сперва очень обрадовался, чуть из кресла не вывалился. Но что было потом... Взявшись за голову, он ругал себя последними словами. Никто и не догадывался, что начальник нефтеразведки такое себе позволит! Опомнившись, Василий Семенович долго извинялся. Монолог был, мягко говоря, не для эфира, а его слушали девять прилетевших на смену вахтовых бригад. Любитель крепкого рабочего словца, он никогда до мата не опускался. При нем, упаси и помилуй, кому выматериться. А тут!

— Старый дурень, доверился... И кому?! Этим городским щеголям, вертохвостам! «Сожгли целую цистерну керосина». Нету, мол, в живых, нету. И все вы, конторские крысы, в одну трубу пели! Пусть у милиции складно да ладно получалось: и свидетель с объяснением, и рапорты... Но мы-то с вами ребяткам не чужие... Бригада хороша! Знали,

ведь, что парни леса-то настоящего не нюхали, а тут тайгища! Всей сменой должны были ринуться по горячему следу. И в тот же вечер вертолёт с ракетницами поднять. К утру нашли бы. Так нет же!.. Бригадир целые сутки от меня таился. Чего боялся, спрашиваю?! Стыдоба! Чуть не загубили товарищей, с которыми успели попотеть и похлебать щей из одного котла!

Чащин наотмашь хлестанул присутствующих в зале недобрым взглядом и по-мальчишески передразнил недавно присланного из города своего заместителя по кадрам и быту Владимира Романовского: «Под лупой на сто верст в округе просмотрели!» — и замолчал, схватившись рукой за левое подреберье.

В просторном актовом зале повисла тревожная тишина. Но только Чащин убрал с груди руку и поднял над столом свою красивую седовласую голову, как нефтяники вновь загалдели. Теперь уже радостно. Василий Семенович тоже счастливо улыбнулся. На всех была одна радость — живы парни, живы!

— Давно присматриваюсь к тебе, Амосов. Железный ты мужик, хоть и молод еще. Цены тебе нет: мало говоришь, да толково поступаешь. С тобой и в разведку пошел бы.

Это была высшая награда от Чащина — известного, почитаемого в отрасли нефтяника и уважаемого людьми человека. её достаивались избранные. И ни в ком он не ошибся.

— Вытащим из больницы наших, сам займусь комплектовать амосовскую бригаду. Считай, Андрей, в твоём списке два бурильщика уже есть. Пора, тебе расти, пора. Готовься осенью поступать в наш институт. На заочное. Толковый руководитель из тебя получится.

— Василий Семенович! Мне просто неловко как-то... Там, на зимовье, так поступил бы каждый...

— Ладно. В этом позорном для нас случае мы ещё разберёмся. И с авиаторами... Давай-ка, Романовский, дуй в больницу. Если медикам потребуется помощь краевой санавиации — на всё соглашайся. Надо ребят на ноги поставить. А мы с Амосовым едем в гостиницу! Там их матери вечером прилетели. Виделся с ними. Чернее земли. Сказали, будут ждать заключения экспертов. Они мне не поверили. Просто не захотели слушать мои объяснения. Вот так-то, господин Романовский! И не забудь договориться с врачами, чтобы матери сегодня же, хоть одним глазком, поглядели на сыновей. Мы же с Андреем должны аккуратно подготовить их. После всего пережитого и радость убить может. Принесём за всех нас извинения. Ты, Андрей, — не в счет!

Он заторопился и вызвал машину. Водитель «Волги», ровесник начальника, только увидев Василия Семеновича, полез в бардачок за валидолом. Андрей тоже заметил, как по лицу Чащина пробежала серая тень.

...Год назад в Чечне пропал без вести его единственный внук Игорь. Состояние убитых горем матерей, Ильиной и Жангалиевой, он чуял своим сердцем. Испытания трагической неопределенностью и собственной беспомощностью дорого обошлись ему: похоронил жену, перенёс инфаркт. Да и сын с невесткой не живут, а существуют... Его только работа да люди спасают. Врачи настаивают на инвалидности. Да где там! Лишь дома наедине с собой, иногда давал он волю безутешным, нескончаемым слезам... Краевое начальство тоже поддерживало его решение «оставаться до конца в боевом строю». Да и как им без него-то, Чащина! Замены пока нет. Он разведчик от Бога. Самородок! Кто еще имеет такое чутье на нефтяные «огороды»...

Войдя в тесный гостиничный номер и поздоровавшись с одетыми в траур женщинами, Василий Семенович с порога встал перед ними на колени. Этот небывалый в их жизни поступок мужчины, да еще большого начальника, ввёл их в полное недоумение и замешательство. Андрею даже показалось, что они чувствовали перед ним какую-то вину или неловкость. Может, за вчерашний трудный разговор на повышенных тонах: «Не уберегли!», «Почему отпустили одних!»...

Клавдия Давыдовна и Калампыр Садыковна склонились над Чащиным и стали наперебой извиняться. И он повинился перед ними. За себя и за всех. Потом осторожно, подбирая

слово к слову, сказал о причине их с Андреем визита, о счастливом конце таёжной были...

И что тут началось! Сцепившись руками, они втроем заголосили, закружились, заполняя собой все комнатное пространство. Но минутой позже, словно взорвавшись изнутри новым взрывом, стали прыгать и радостно кричать. Перебили всю казенную посуду. При этом вулканическом извержении чувств, женщины успевали целовать и тискать в объятиях сразу помолодевшего на десять лет Чащина.

— Да не главный я, не главный! Вот он— герой! Ваш спаситель и моя надежда!

Василий Семенович, наконец, утихомирил буйство женщин.

— А ты что стоишь в сторонке, как бедный родственник! — и познакомил матерей с Амосовым.

Тот стоял, прислонившись к двери и не находя себе места в катающемся, скачущем и ревущем клубке обезумевших от счастья людей. Уловив миг временного затишья, Андрей обнял матерей, крепко прижав их к груди:

— Приглашаю всех на первого глухаря, — и, подумав, твердым голосом, не допускающим возражения, добавил:

— Собирайте-ка, дорогие мамы, вещи и выписывайтесь из гостиницы. Будете жить у меня. В отцовском доме всем места хватит.

И пошел к администратору платить за разбитую посуду.

В больнице их радушно встретил главный врач:

— До свадьбы всё заживет! Ильин отделался сотрясением мозга средней тяжести и откусил при неудачном приземлении пол-языка. При-ши-ли! Помолчит недельку и будет здоров. У Жангалиева дела посложнее: открытый перелом ноги, большая потеря крови и бронхит. Но тоже— ничего страшного. Конечно же, оба нуждаются в усиленном питании и отдыхе.

Счастью матерей не было конца. Они благодарили всех. И пытались целовать Андрею руки...

ФРОСЯ – ЕФРОСИНЬЯ



1.

У края скалистого берега Енисея, на отшибе таёжного села Спасского, несокрушимой крепостью стоял рубленный из лиственницы дом. Его мощные, гладко тёсанные стены сложили более ста лет назад сибирские богатыри, потомственные казаки Красины — Порфирий и Егор.

Хвойный бор обступал дом с трёх сторон. С южной — у села, лес ненадолго прерывался несколькими узкими улицами, далеко и охотно бегущими вслед за многоводной рекой да леспромхозовскими вырубками.

На запад и восток от дома на сотни километров тянулась нетронутая человеческой вседозволенностью тайга. Здесь она жила едино с небом и солнцем.

В добрые лета красинская семья за пятьсот шагов от забора набирала в зиму груздей, рыжиков, черемши да всякой таёжной ягоды столько — не хватало заранее приготовленных бочонков. Запасённые с лихвой дары леса поднимали на высокий чердак, а там, на сквознячке и чистой мешковине, их держали до полного высыхания, а в постные дни — в пироги, супы да кисели.

Посередине подворья разлаписто возвышался могучий красавец кедр. Он знал каждого красинского отпрыска, ласково подпи-

рал их первые шаги сильным, шершавым стволом, защищал от палящего солнца и ветра, кормил сладкими орешками. Сам крепчал и хорошел. Пикой верхушки, заметно прирастающей за лето, казалось, вспарывал незванные им облака и тучи, стараясь дотянуться нежной молодой порослью до небесной выси.

Ефросинье не спалось. В голову лезло всякое: «Пашка стал приезжать реже. Лицо невеселое, виноватое, хоть и хвалится успехами в учебе и боксе. Давно уж денег не берёт — сам привозит полные сумки продуктов. Откуда у бедного студента такие деньжищи на гостинцы?»

Пробовала допытаться, но, бесенок, отшучивается. «Ой, не свихнулся бы на плохое. Вроде, не должен. Остается верить на слово».

Ефросинья прервала раздумья. Что-то тяжелое ударилось об оконную раму в горнице. Зажгла свет. «Стекло, слава Богу, цело. Вот напасть-то. Кого нечистая принесла на утренней зорьке?».

Накинув поверх ночной рубашки пуховый платок, резво выскочила на улицу. Туманное утро едва обозначилось над тайгой. Под окнами горницы увидела окровавленную птицу. «Никак ослепла, сизокрылушка, не видишь, куда летишь? — пожалела её Ефросинья. Подняла за крыло: «Не распознать. Боже мой, как ты расшиблась! В кровушке вся. На грудке косточки переломаны. Видать, сердце

ими задето, оттого вмиг околела. К добру ли мне это или к худу?»

Перекрестилась. Взяла у поливальной бочки лопату. «Покойся с миром», — и закопала вещунью под корни ветвистого барбариса.

Потом, задержавшись на крыльце, долго смотрела на светлеющее небо, еще усыпанное россыпями мерцающих звезд. «Благодать им. Тайнством да чистотой блестят. Все видят, знают про нас. Как не знать-то: рядом с Творцом и мы были бы святыми. А тут за долгую жизнь такой грязи нахлебаешься, стыдно глаза к небесам поднять. Предки наши жили проще, чище: чтили Бога, себя блюли».

Босые ноги стали стынуть, и хозяйка заспешила в тепло. Достала из печи чугунок с отваром марьиного корня. Налила полстакана, погрела в ладонях, пожелала себе здоровья и выпила. Недавно узнала от местных знахарей про лесные пионии. Говорят, пионии нервы успокаивают. «Отчего боле не спится мне? Ясно, от нервов. Где им, бедненьким, крепости было набраться? Никакого покоя со мной не видали. Только и пожила в своё удовольствие девочкой Фросенькой у деда Георгия. Душа до сих пор ликует, помнит, как дедуля любил да баловал».

Грустно вздохнув, пошла в спальню.

Отвар не помог. Не дождавшись сна, Ефросинья для душевного равновесия вновь предалась далеким воспоминаниям о корнях своего рода — земном истоке под крышей дома, где

родилась и доживает кем-то предначертанные ей нелегкие годы.

«Какой ныне день-то?» Она встала с постели, подошла к календарю. «Память никудышная, дырявая! Воскресенье. Если внук не приедет, в церковь схожу. На стол поминальный узелок соберу. Оплачу родных, свечи поставлю. Все Красины уж на том свете. Мы с Настей да Павлом одни здесь остались. И чует душа моя, Павлушка вот-вот объявится. Нафарширую блинчиков с творожком. Любит, бес, со сметанкой их трескать», — и растопила печь.

Последнее время постоянно вспоминала родственников. Постылое одиночество скрадывалось, наполнялось содержанием их жизней: дорогих, близких чувственной душе Ефросиньи и прожитых красинцами с завидным размахом, удалью, в праведных трудах.

Красинские мужики, наделённые от роду силой и красотой, назывались местными невестами самыми желанными. В холостяцкой вольной жизни они ни в чём себе не отказывали. В шумных утехах, увеселениях во всю ширь русской души меры не знали. Но к тридцати годам, к женитьбе, вдоволь нагулявшись, утихомиривались, успокаивались, становились толковыми хозяевами, степенными мужьями. Их семьи жили зажиточно, ни в чем не нуждаясь. Достаток добывался мозолистой деревенской и таёжной работой, природной сметливостью, деловой хваткой. Про

Красиных в Спасском говорили: «У них голова и руки из нужных мест растут».

В давние царские времена Порфирий и Егор Красиные числились в казачьей вольнице. Старший Порфирий дослужился до есаула, но, по причине мужской болезни, семью не заводил. Жил вместе с младшим братом Егором, помогал ему поднимать многочисленное потомство из двенадцати мальчиков — погодков и единственной дочки. Сам Александр Васильевич Колчак был наслышан о многодетном казаке Егоре. Одобрял его. От себя лично подарил ему несколько тюков добротной материи, стельную тёлку и жеребью лошадь-трёхлетку. Перед началом гражданской войны и развертыванием белого движения в Сибири братья перешли на сторону Красной Армии. В то смутное, непонятное время такое случалось в казачьих войсках нередко. Но долго воевать им не пришлось. В жестоких боях под Красным Яром оба получили тяжелые ранения. Ослабленных, испитых до дна болезнями, не пригодных для боевых действий, их демобилизовали и отправили домой. Умирать. Но негибемый сибирский дух, закалка, бывшее крепкое здоровье распорядились с Красиными на свой лад: постепенно они оклемались, поправились и прожили более десятка лет в родном доме. Кормили их тайга, речка, работа в лесничестве. К началу сороковых годов воз-

мужало, встало на крепкие ноги третье поколение Красиных, потомственных лесничих.

2.

В семье одного из отпрысков Егора Красина — Георгия народилось семеро сыновей и три дочери. Парни были обучены лесному делу и разъехались по леспромхозам края и Приангарья. Статных и пригожих дочерей посватали солидные городские женихи, справили в селе богатые свадьбы и увезли навсегда из таежной глухомани. В доме с Георгием остался младший сын Иван с женой Полиной, тремя сыновьями и дочкой Ефросиньей. Дед любил внучку Фросеньку так, будто в этой жизни, кроме нее, никого более дорогого сердцу и не было. После смерти жены Матрены ни с кем из домочадцев говорить не хотел. Только с внучкой Фросей, как прежде, весело болтал, смеялся. Весной 1941-го ему исполнилось шестьдесят, но выглядел он моложе. Его большое, хорошо сложенное тело переполняли недюжинная сила, завидная привлекательность зрелого мужика. Контрастные краски лица: большие глаза сочной майской синевы и словно слегка подкрашенные лесной малиной губы тонко передавали состояние души. Густые брови, черной щетиной свисающие со лба, нисколько не портили его внешность. Хорош! Такой мог бы и на молодухе жениться. Но отрекся навсегда от всяких утех. Только непоседа и выдумщица внученька Фросенька составляла теперь его

земное счастье. Он щедро делился им с любимицей. И она в дедушке Георгии души не чаяла. С нетерпением ждала у ворот его прихода с работы, а дома ни за что не хотела разлучаться с ним.

— Дедулька, ты у меня самый добренький и послушный,— беззаботно лепетала она, успев забраться к нему на колени, когда тот на считанные минутки появлялся из леса перекусить.

Тогда Полина брала в руки полотенце, легонько шлепала им по вихрастому затылку дочки.

— Ах, ты шалунья этакая! Скоро заневестишься, а все на дедушке ездешь. Дай ему хоть поесть спокойно. Вот я тебе задам, коза шкодливая!

— Не тронь внучку, Поля. Не мешает она мне. Без неё и жить-то вовсе бы не хотелось,— Георгий ласково трепал Фросю за румяную щечку.

— Деда, учительница сказала, я перейду в третий класс круглой отличницей.

— Славно, это по-нашенски, по-красински! Придётся мне в район за подарком ехать. Чего хочешь-то?

— Ой, не балуйте её, тятя. Ведь меры в хотениях и стыдливости перед старшими, как бывало, мы, не знает, — предостерегала свекра Полина.

— Дед, а у тебя денег на велосипед двухколёсный хватит? — не унималась бесстрашная Фрося. Георгий на минуту задумался.

— Во, куда тебя занесло! Как ты про него знаешь-то? Отродясь в селе ни у кого такого чуда не видывал. — Дед смотрел на Фросю с любопытством, изумлением и гордостью.

— Он в букваре нарисован. Мальчишка на нём едет. Велосипед, деда, похож на железного коня. Только без хвоста. Чтобы на нём ехать, надо ногами педали крутить, понял?

— Понял-то, понял, но ты же девочка. Зачем тебе конь, да ещё железный?

— А девчонкам что — нельзя?!

— Я давно говорю, наша Фрося от скромности не умрет. Ишь, чего надумала, бесстыжая! Прекрати сейчас же! — Мать не на шутку повысила на дочку голос и опять схватилась за полотенце. — Упаси, Боже, слушать её, тятя! Экая дороговизна, неслыханная. Ну, как разобьет его, с горок-то катаючись?

Георгий допил кринку холодного молока, пощекотал Фросину тонкую шейку, поцеловал и бережно опустил свою драгоценность на пол.

Уходя, весело подвёл итог разговору:

— Будет тебе, дедова отличница, к лету велосипед.

Георгий Красин и лес были неразлучны. Свои первые шаги годовалый крепыш Гоша совершил самостоятельно, идя по травянистому подворью к кедру.

К кедру! Тогда мать Арина отметила: «Еще один лесничий встал на ноги».

Подрастая, Гоша уходил от дома в бор всё дальше и дальше. Отец предостерегал его: «Смотри, заблудишься. Тайга — дело не шутейное. Не каждому взрослому по силам, а ты совсем еще мал». Но Гоша настырно с утра до ночи пропадал в бору. Тогда отец решил обучать его охотничьим навыкам выживания.

Учебу закреплял практикой. Бывало, покружит сынишку, как юлу, и оставит одного в густом ельнике. Якобы, домой уйдет, а на самом деле, издали, таясь, следит за мальчонкой. «Вот пострел! В школу не ходит, а уж с лесом на «ты». Не боится! В деда Прокла пошел. Тот из любых дебрей во все времена года короткий путь к дому находил. Казаки шутили: «У Прокла и зипун — компас».

Гоша, осмотревшись вокруг после отцовской прокрутки, домой не спешил. Брел медленно, ел землянику. Высматривал кустики голубики да черники: любил эту ягоду больше всякой другой. Ковырял палкой выпуклости на хвойной подстилке, ища груздочки. Задирает голову к верхушкам деревьев.

Останавливался у лесных «патриархов», доживающих свое последнее столетие и дающих приют дупловым птицам.

Подражал свисту рябчиков и манил их за собой. Потрепал сиво-зеленую бороду дородной ели, свисшую до самой земли. Поскреб и попробовал на язык лишайник на её потрес-

кавшейся коре. Потом достал из короба кусок рыбного пирога, доел его. Посмотрел на солнышко и уверенно зашагал в сторону дома.

Егору пришлось поспешить, чтобы встретить сына у ворот.

Любимицу Фросеньку Георгий тоже стал приучать к тайге с раннего детства. Учил понимать непростой норов леса, знать разноликую, многоукладную жизнь зверей, птиц, разных букашек под его щедрой кроной.

— Деда, а когда пойдем за распадок сойку слушать?

— Так в воскресенье. Будни-то заняты. А пока сбегай-ка к нашему кедру, да посиди там тихохонько, посмотри и послушай. Потом расскажешь, кто прилетал и что делал.

Ранним утром Георгий заприметил пару снующих по подворью чернокрылых кедровок прошлогоднего выводка с выраженными белыми полосками в конце сизых хвостиков. Он с интересом понаблюдал веселую суету птиц у нового гнезда, уже обустроенного ими на молодой ветке кедра. Высоко от земли, в метрах десяти. По этой причине их в тайге найти трудно. А тут, надо ж, поселились прямо на глазах у людей. Порадовался.

Не прошло и пяти минут, как с горящими во все лицо глазами к нему вернулась Фрося:

— Деда, там две птички свили гнездышко. У них черная головка и длинный клювик. Они меня не боялись, деда, и все кричали «грей-грей». А гнездышко их — у самого не-

бушка. Ты у забора лестницу забыл, так я по ней лазила, чтобы гнездышко увидеть. Руками, деда, его никому не достать. И с лестницы нашей тоже.

— Это кедровки, внученька. Гнездо их и взрослому-то человеку высмотреть трудно, а ты у меня, смотри-ко, кака остроглаза, отыскала таки. А теперь отнеси-ка им кедровых орешек. Они страсть, как любят их щелкать.

— Я тоже орешки люблю. Ты их совсем мало осенью из тайги наносил.

— Так не каждый год этот дар Божий людям и разному живью на лакомство дается. Стало быть, не уродились. Да ты не жадничай! Зачерпни орехи ковшиком из короба и рассыпь под кедром. Птички, поди, за зиму оголодали в лесу и к добрым людям на подворья пожаловали. Ты, Фросенька, не забижай их, подкармливай. Им еще деток надо выходить...

— Деда! А у птичек этих есть дедушки? И где они живут?

Георгий давно перестал удивляться Фросиным нескончаемым и подчас непростым вопросам. Старался отвечать на них правдиво, но так, чтобы внучка тоже участвовала в поисках ответов.

— А ты сама-то как думаешь?

— Я думаю, птичкам-дедушкам так высоко на кедр не взлететь. Они старенькие! Наверное, поженились с птичками-бабушками и живут в норках.

— Вот так сообразила! Знай, в норах — звери живут. К примеру, лисички, соболя, мышки...

— А, помнишь, сам говорил мне про ласточкины норы?

— Фросенька! И не только ласточки, а многие птицы, что у берегов живут, коготками роют себе длинные норки. Так это ж не в тайге! А в глинистых и песчаных обрывах. Такие птички так и зовутся прибрежными. И еще скажу. Рядом за рекой, в Саянах, водится другая ласточка. Она очень похожа на береговушку, но гнездится в скалах и глубоких ущельях высоко от земли. её называют — скалистая. Но чтобы таежные кедровки да в норах жили! Тут твоя фантазия, внученька, совсем никудышно сработала.

— А ты, дедуля, залез бы на такую верхотуру, как наш кедр?

Фрося настойчиво пыталась отстоять свое мнение.

— Птицы, Фрося, на то и птицы, чтобы летать. А мы, люди, по земле должны твердо ходить, все уметь и все знать. Чтобы малым братьям лесным вовремя помочь, когда их нужда прижмет.

Задумался: « Так ли дитю объяснил? »

— Деда! А если я насыплю кедровкам орешков, они и дедушкам своим понесут их в клювиках?

— Конечно, понесут! Птички добрые, заботливые, поделечивые.

Девочка сорвалась с места, побежала в летнюю кухню. Через минуту понесла кедровкам полное сито орехов.

— Деда! Я тоже буду кормить и птичек, и птичковых дедушек.

Сердце Георгия, безраздельно принадлежавшее этой громкоголосой говорунье, затрепетало радостной, бесконечной любовью к ней. И не только любовью, но и восхищением не по годам сметливой, жалостливой щебетухой.

Оставшись вдовцом, Георгий не давал себе передыху. С головой окунулся в лесную работу, бесконечные дела на подворье. В нем словно второе дыхание открылось.

Поднимался с восходом солнца, выпивал ковш хлебного кваса, брал приготовленную Полиной корзину с едой, ружье, болотные сапоги-вездеходы и уходил до заката в тайгу. Ему, опытному лесничему, была поручена выбраковка хвойных пород. В первую очередь, ангарской сосны и лиственницы.

В мае начинался строительный сезон. В контору пачками приносили телеграммы на предоставление строителям участков под вырубку. Не меньше их было и от промышленников. Бывало, по два-три дня так и ночевал в лесном «кабинете» под звездами на лапнике у старого кедра или пихтушки, чтобы вовремя самому управиться и дать возможность поскорее зашуметь лесоповалу.

В обычные дни возвращался из тайги, когда уже медлительное летнее светило повисало на розовых верхушках деревьев. Перекусив, торопился в кузницу, обустроенную им для всех потребных случаев и расположенную для удобства клиентов в углу подворья, недалеко от ворот. Там кузнеца поджидали со всякой хозяйской нуждой деревенские бабы и мужики. Отказу никому ни в чем не было.

Особой гордостью Георгия были чугунные ворота для подворья. Они дались ему с большим трудом, напряжением ума и воображения. Он ваял их, не делая эскизных набросков. Ворота получились нарядными, с причудливыми, летящими узорами. Позавидовали бы и вологодские кружевницы. Весной красил их чёрной краской, отчего узорный рисунок ещё ярче выделялся на фоне янтарного дома. Семья была в восторге от дедова мастерства и назвала ворота «парадными».

Иван с сыновьями, помимо постоянной работы в лесничестве, охотничал, рыбачил, растил домашнюю скотину и птицу.

Младший, Павел, с раннего детства любил лошадей. После окончания лесного техникума дед с отцом подарили ему пару породистых вороных: жеребца Сокола и подружку — двухлетку Звездочку, выменяв их у проезжего цыганского барона за три медвежьих шкуры и два десятка баргузинских соболей. Уход и ласка сделали своё доброе дело. Вско-

ре Сокол и Звездочка влились в трудовую красинскую артель.

На семейном совете решили, что Павел должен продолжить родовую династию и поступить в лесной институт. Днём он пропадал в тайге, а по вечерам, обложившись книгами, допоздна засиживался в горнице. Вездесущая сестренка Фрося жалела его: у Павлуши, умного и доброго, нет девушки. Зато у старших братьев их хоть отбавляй.

Николай и Петр были двадцати семи и двадцати пяти лет от роду. Трудолюбивые, богатырского сложения парни отслужили в армии и теперь помогали отцу. Редкими свободными вечерам навестывали упущенные радости, не теряя времени попусту. Фрося знала, где и с кем они встречаются. Следила за ними, в чем успешно ей помогала соседка Нюра, рано заневестившаяся и обойденная вниманием соседских красавцев. По малолетству, недопониманию и с Нюркиной подсказки, Фрося ябедничала деду о похождениях братцев. Тот делал вид, что занят работой и не слушает муху-стрекоутуху. Однако Фрося скоро раскрыла зловредный замысел корявой толстушки. Доносы прекратились. Но тайная слежка, уже без Нюрки, продолжалась.

При удобном случае Фрося намекала братьям: знаю, мол, про ваши гуляния с плохими тётями и расскажу матери. Братья делали перепуганный вид, клялись любимице впредь быть паиньками.

Когда у девочки появился велосипед, интересы её поменялись. Наспех выполнив поручения матери по дому, она выезжала на главную улицу села и день ото дня оттачивала мастерство скоростной езды с препятствиями. Из под шумных колёс её велосипеда едва успевали унести ноги прежде никем не пуганные, бесчисленные утиные семейства с выводками. Мамы-утки возмущенно обкрякивали Фросю за вторжение на территорию выпаса. Отношения с папами-гусаками складывались у неё и того хуже. Самолюбивые, воинственные птицы разбегались, взлетали над травянистой дорогой и, неистово гогоча, гнались за «агрессором». Иногда им удавалось слёту ущипнуть Фросю за спину или плечи. Синяки у нарушительницы гусяного спокойствия не сходили до зимы. Только обильный снегопад закрывал сезон её велогонок.

Многие селяне удивлялись диковинному транспорту, глядя на смелую наездницу. Она привлекла внимание и любителей деревенских завалинок. Вскоре до Полины дошли слухи о «подвигах» дочери с подробным перечислением её «побед»: сбила теленка, задавила поросят, кур не считано. Мать, не вдаваясь в долгие разбирательства, сняла со стены ремень. Надежный лекарь ребячьих мозгов предназначался для образумления братьев в их далеком детстве и давно висел на гвозде не востребованным.

— Ты чего натворила, коза бодливая? Полсела в убытке, а ты и в ус не дуешь. Для начала хорошенько выпорю тебя, а убийцу твоего железного спущу с обрыва в реку. Как людям в глаза смотреть? — И, не дожидаясь отчета дочери, ничего не понимающей, испуганной, замахнулась на неё ремнем. Но кто-то сзади крепко ухватился за него. Полина оглянулась и встретилась с гневными глазами свекра.

— Поостынь-ка малость, — он резким движением вырвал у невестки ремень. Внучке велел подождать у ворот. Их разговора Фрося не слышала.

Дед не задержался, и они вдвоем поехали на велосипеде по указанным матерью адресам пострадавших. Список был длинный, но Георгий с внучкой успели везде побывать. Оказалось, никто из сельчан не был в обиде на девочку, и никак не пострадали питомцы спасских подворьев.

Домой вернулись вечером. За семейным ужином дед весело пересказывал надуманные истории. В заключение любительнице быстрой езды строго наказал:

— Смотри, Фрося, в оба, куда едешь. Жалей всех, кто пешком идет. Они тоже, может, хотели бы ехать, да возможности пока нет. Когда велосипеды купят все, обязательно купят, то и сплетни сочинять будет незачем.

Помолчав, пояснил ей и причину возникшего недоразумения: от зависти человек злет.

За столом семья сидела допоздна. Обсуждали грядущие дела. Главным определили сенокос. Но время распорядилось за Красиных иначе. Жестоко и безвозвратно.

Это был последний тихий, теплый, ласковый вечер перед началом войны.

3.

22 июня 1941 года в один миг перевернулись судьбы. Первыми на фронт забрали Николая и Петра. Спустя месяц, проводили отца, потом деда с Павлом.

Никто из них живым не вернулся.

После похоронок на Георгия и трёх сыночек Полина слегла от горя и вскоре обезумела.

Фросин отец погиб в Литве, похоронка на него пришла в канун нового 45-го года. Пятая в доме Красиных. Мать к тому времени уже не вставала с печи, ничего не помнила, не понимала, но продолжала спрашивать у Фроси и почтальонки, подруги Дуси, изредка навещавшей Полину, нет ли от свекра, Ивана, и сыночек писем? Хозяйство давно легло на плечи Фроси. Как могла, берегла корову. Кормила и поила, меняла соломенную подстилку, разговаривала с Красавкой, единственной их кормилицей. По веснам высаживала в огороде картошку. Летом набирала на зиму черемши, ягод, грибов. Этим и были живы. Чтобы поддержать истощенную, умирающую мать, дочь за ведро ржаной му-

ки отдала последнюю в доме ценную вещь — велосипед. Но мать таяла на глазах.

За две недели перед кончиной ничего не ела, лишь выпивала в день несколько глотков молока. В конце февраля, поздним вечером, Полина неожиданно пришла в полное здоровое сознание, подробно расспросила о свекре и сыновьях, плакала, словно впервые услышала об их гибели. Долго молчала. Не было сил говорить. Потом еле слышимым голосом сделала Фросе наказ:

— В дом чужих не примай. Не маленькая, сама прокормишься. Даст Бог, из наших кто с Иваном вернется.

Фрося не решилась сказать матери правду об отце. Мало ли ошибок случается на войне?

— Жди, надейся. Замуж, за кого попало, не выходи. В красинской родове ветродуев да басурман не бывало. И ты блюди это. Держись за корову. Травостой встанет, сено на зиму серпом жни. Носи с опушек и суши на подворье. Складывай на сеновал небольшими копнами. Не загниет. Красавке вари картошку в мундирах. Дождетесь конца войны, там жизнь подкажет. Бога не забывай...

После этих слов мать затихла.

Фрося никогда не видела покойников. Ей стало страшно. Наскоро одевшись, побежала в село к людям. Пришли женщины из леспромхоза и сельсовета. Принесли на поминки пшенной крупы, несколько банок откуда-то

взявшейся американской тушенки, соли и спичек.

В Спасском в ту зиму стояли злющие морозы. Поземка мела днем и ночью. Сугробы спрятали высокий забор вокруг подворья. До кладбища везти покойницу было не на чем, да и некому. Из взрослых мужиков в селе остался старенький, больной директор леспромхоза Степан Матвеевич Рыжиков, но и он уехал с проверкой на лесоповал.

Женщины выкопали могилу в ближайшем сосняке неподалеку от дома и похоронили Полину. До позднего вечера они сидели за поминальным столом. Плакали, делились горем, не обошедшем ни один спасский двор.

— Ты, Фросенька, людей держись. Поможем сиротке. — И разошлись по домам. Оставшись одна в большом холодном доме, девочка старалась во всем следовать материнскому слову. «Как выжила, голодала, натерпелась страха, — часто вспоминалось Ефросинье. — Да что я? Всех война съежила и подкосила».

Люди предлагали ей деньги, еду, но понимала: отдадут последнее, и не брала. Всякой русской душе жить в долг боязно. И Фрося такая: кроткая, совестливая, терпеливая. Только доверившись семье Рыжиковых, давним приятелям отца, нашла в их добром участии облегчение своему невыносимому существованию. Она давно выросла из довоенной одежды. Доносила мамины платья и пальто.

От скатанных дедом валенок остались голенища, к которым, как могла, пришила отцовские галоши. В морозы наматывала потолще старых тряпок, отчего ноги едва втискивались в самодельную обувь, нестерпимо мерзли. Не в чем было ходить в школу, нечем топить печь.

Рыжиковы привезли Фросе дров, сушеной сохатины, спички. Галина Семеновна поделилась с сиротой теплыми вещами. На день рождения сшила первое в жизни девочки нарядное платье. Степан Матвеевич подарил имениннице поношенную телогрейку и аккуратно подшитые валенки. Они были не по размеру, зато тёплые. Старики, плача вместе с Фросей, просили потерпеть нужду и обязательно одолеть седьмой класс. Уходя, Степан Матвеевич пообещал:

— Окончишь семилетку на пятерки, устрою в леспромхоз. Красины все здесь начинали и заканчивали свой трудовой путь. Нам нужен счетовод в бухгалтерию. Тебя подождем.

Летом четырнадцатилетняя Фрося уже работала. Получив первую зарплату, расплакалась: и малые деньги казались ей несметным богатством. Следующим летом, по настоянию Степана Матвеевича, она поступила на заочное отделение лесного техникума. Так, постепенно, он вывел её на проторенную красинской династией дорогу: она стала лесничим. В те годы многие сибирячки разделили с Фросей нелегкий таёжный хлеб.

4.

Закончилась война, а мужчин в селе заметно не прибавилось. Истосковавшиеся по крепким мужским рукам и ласкам, женщины сходили с ума. Нарасхват были и вовсе никудышные мужички: инвалиды, пьющие, бездельники.

Осенью появился в Спасском из дальних мест, из Вологды, уже не молодой Михаил Иванович Слепцов. Смуглый, рослый, в офицерском кителе с орденской планкой на груди. Он сразу попал в обойму мужиков, за которыми в очередь толпились засидевшиеся невесты и молодые вдовы.

Слепцов приехал в леспромхоз, чтобы поднять его с колен. Сменив Степана Матвеевича, инвалида и пенсионера, он начал быстро наверстывать упущенное за годы войны.

В селе безработных не осталось. Новый директор не давал продыха ни себе, ни коллективу. Строгий, громкоголосый, безжалостный, с раннего утра до поздней ночи лично принимал работу на участках и в бригадах. Заставил работать по-стахановски. Таково, говорил, требование времени: страна возрождается из руин. Строевой лес, пиломатериалы нужны позарез.

Трудились в две-три смены. Рабочие месяцами не имели выходных. Но в Спасском это было единственное предприятие, где люди зарабатывали себе на кусок хлеба. Приходилось терпеть.

Ночью Фрося, едва успевала управиться по дому и спешила до рассвета попасть на свой участок. Не дай Бог, опоздать. Нарушение дисциплины каралось законом. Михаил Иванович был горяч на расправу, и ей не хотелось подводить Степана Матвеевича. Благодарная девушка помнила, как он достойно представил Слепцову её и всю красинскую династию.

Вскоре стала замечать: директор старается добраться до её лесных владений к концу смены. Не раз предлагал отвезти домой. Однажды napросился на чай. Она заварила его по маминому рецепту: с лесными травами, кореньями, шиповником.

— Сам вырос в лесу, но такой вкуснятины не пробовал,— нахваливал он ароматный Фросин напиток, выпив чуть ли не до дна двухлитровый чайник.

— Молодец! Всюду успеваешь: и дома порядок, и лесничеством руководишь, не хуже мужика. Давно приглаждаюсь к тебе. Имею серьёзный разговор, но все некогда личными делами заняться. Давай, в первый же выходной сходим в кино? Билеты за мной, — сказал он и лукаво подмигнул. Фрося растерялась, так ничего и не ответив. Такого Слепцова она не знала.

Выходной дали только в следующем месяце. У Фроси накопились неотложные домашние дела. К тому же после обеда запланировала сходить к Степану Матвеевичу. Его поддержка, советы для неё дороже всего на свете.

Справилась с хозяйством, приготовила гостинцы. Набралась полная корзина. «Ноги у обоих отказывают. В тайгу нет сил ходить. Надо лечебных травок, грибочков, ягод да черемши отнести. Моих заготовок на полсела хватит. В доме приберусь, баньку истоплю, намою их», — рассуждала Фрося.

Ближе к полудню услышала стук в дверь. «Никто не должен был прийти». Сердце беспокойно екнуло.

— Не закрыто. Заходите!

Вошел Михаил Иванович, краснощекий, улыбающийся. Его свежесбрированное лицо светилось. В прихожей сразу стало тесно. Запахло морозцем и овчиной. Он стоял, робея пройти дальше и наследить мокрыми валенками на выскобленных добела половицах.

— Собралась Рыжиковых навестить. Ходить не могут, суставы опухли. Надо им помочь. С работой без выходных совсем стариков забросила. Знаете, наверное? Горе у них. Сына перед самым концом войны убили, а похоронка недавно пришла. Был единственным.

— И мне последние месяцы её, проклятой, порвали в клочья сердце, — лицо Михаила Ивановича погасло, потемнело. — Погибла под Берлином жена... — Тяжело вздохнув, добавил: — В бою за Варшаву в танке сгорел сын.

— Ох, сочувствую. Мне эта боль знакома.

— Ты тожехватила лиха. Наслышан. Степан Матвеевич к тебе по-отечески относится, переживает за будущее. Про вашу красинскую семью полдня рассказывал. Это же надо! Пятеро мужиков загубила война. Пятеро! И я сочувствую тебе, Фросенька, сочувствую. Обескрылили нас родненькие наши, одних оставили.

Помолчали. Каждый думал и горевал по родным душам. Оторвавшись от раздумий, Михаил Иванович предложил до кино побывать у Рыжиковых. Фрося радостно засуетилась. Поправила причёску, быстро оделась.

В доме Степана Матвеевича готовились к обеду. Фрося выложила гостинцы.

— А не принять ли нам по сто граммов водочки? — предложил хозяин дома. Гости поддержали его. Михаил Иванович встал. Пальцы, держащие рюмку, заметно дрожали.

— Мы с Фросей решили побывать у вас. Правда, по разным причинам. Скажу о своей. — Он закашлялся, нервно переступал с ноги на ногу. — Хочу осмелиться и попросить при вас, Степан Матвеевич, Галина Семеновна, руки и сердца у Ефросиньи Красиной.

Девушка залилась румянцем. Ошеломленная, с укором смотрела на Слепцова. «Наедине со мной ни о чем таком не говорил, а тут на тебе, неловко как-то». — Повторяю тебе, Фрося! Стань моей женой! — и, не дожидаясь ответа, может, от волнения, предложил супру-

гам Рыжиковым быть на их семейном вечере посаженными родителями.

— Родных у нас с Фросей нет, — в его глазах блеснули слезинки. — Что ты ответишь мне, Фрося? — В третий раз спрашивал он, но Фросин язык, словно к небу прирос. По лицу потекли быстрые, неумные слезы.

— Ну, красавица, мы со Степаном Матвеевичем ждем ответного слова, — заполнила нежным певучим голосом неловкую паузу Галина Семеновна.

Девушка пришла в себя, вытерла ладошкой мокрые щеки, поднялась со стула.

— Замуж не собиралась, не за кого было. Но и предложение Михаила Ивановича очень для меня неожиданное.

— О чем тут долго думать, солнышко ты мое? Одобрю Михаила Ивановича и его выбор, — тихо, но убедительно сказал Степан Матвеевич. — Родные твои, душой слышу, тоже бы его посоветовали. Решайся, девка, решайся. Такого завидного жениха в нашем медвежьем углу скоро не сыщешь.

Ласково и назидательно он подводил её к согласию.

Девушка плакала.

— Мама не велела торопиться с замужеством. Не встречались по-людски, не знали близко, ни разу не целовались даже и — жениться! — всхлипывая, выговаривала им не к месту Фрося.

Но, чувствуя повисшую над столом неловкость, взяла себя в руки. Утерев слезы, тихо произнесла:

— Я согласна. — Помолчав, как бы про себя, вслух добавила. — Может, и люблю.

Ей тогда исполнилось восемнадцать, жениху — сорок. Они расписались в сельсовете. Без свидетелей, буднично. Фрося фамилию не поменяла. Михаил Иванович перенес фронтной чемодан из леспромхозовской гостиницы в красинский дом.

5.

С самого начала семейная жизнь Ефросинье медом не показалась. Стоковавшей по общению Фросе хотелось говорить с мужем и говорить. Она радостно носилась по дому, успевая переделать уйму дел. Стыдливо, неумело прижималась, ласкалась к читающему газеты мужу. Но он не улавливал полёта Фросиной души, неуёмных, нежных её чувств. То ли стеснялся, то ли не понимал. Быстро уставал, скучнел, как улитка, отгораживался от молодой жены непроницаемым панцирем, оставляя наружу колючие, отталкивающие глаза.

— Угомонись ты. Не дитя малое, извертелась вся. — Михаил Иванович пересел в угол под божничку, где на его голову складывались гармошкой длинные полотенца. Фрося срисовала из журнала и вышила на них крес-

тиком голубей с ветками оливы в красненьких клювиках.

— Побаловаться что ли нельзя? Видать, еще не наигралась я. — Фрося обиженно фыркнула.

— А мне не до игр. Все тело ноет. Напрыгался за день в санях по лесным заносам. Не успеваем пробивать дороги к просекам. Лошадь по брюхо тонет. Вот и приходится помогать ей самой через сугроб переныривать и сани вытаскивать. А снег валит и валит. Да и от семейной суеты-маяты за годы войны отвык.

— Может, в сарай вместе сходим? Надо стайки почистить, сена в ясли натаскать, подстилки сменить. Совсем скотину загубим. У коровы бока уж занавозились. С кедром побеседуем, — именно у кедра ей хотелось сообщить мужу о своей беременности.

— У меня дел невпроворот. Если тебе самой подворье не под силу — раздай животину по селу.

— А что есть будем? Это тебе не город: мяса в магазине не купишь, и базара нет.

— Тайгой как-нибудь проживём, — уже сердито буркнул Слепцов.

— Что-то не видела в твоих руках ружья или сети.

— Некогда мне. И на эту тему говорить больше не намерен.

Он сгреб со стола газеты и, шаркая рваными тапочками, направился в спальню. Фрося, одевшись в старье, вышла на подворье.

Крепкий мороз с ветром обжѣг лицо. В начале марта саянский хиус, «саянец», часто предвещал снежные метели. «Надо наносить сена дня на два-три, а то зимушка расстарается — к сеновалу не доберѣшься», — и с присущей ей сноровкой взялась за работу. Через пару часов управилась с делами.

С малиновым румянцем на бело-розовом лице, пышущая здоровьем и что-то чудное ощущающая в себе, подошла к кедру: «Тебя и не признать вовсе. Дивом стоишь, вровень с небом. Заснежился, искришься весь в лунном мареве чудными, сказочными бликами. Незримой силой тянешь к себе — мимо не пройти. Ну, так поговори, коль зазываешь. Сказов — рассказов об нас, Красиных, в тебе — век не переслушать. И прадедов моих знавал при их еще молодой силушке».

Ефросинья замерла, словно перед великим таинством. Вслушивалась в скрипучий перезвон тяжелых ветвей, в ворчливые, едва уловимые колебания могучего ствола под усиливающимися порывами ветра. Ритмичные, свистящие напевы кроны выстраивались октавами в протяжный, клокочущий, воющий и стонущий разноголосьем набат надвигающейся метели.

Кедр раскачивался в белой зыби близких звезд, завораживая и пьяня лесную мечта-

тельницу. Казалось, на рваных, убаюкивающих волнах она вся уносилась в неведомую и желанную даль, покорно растворяясь в морозной ночной мгле. Но, почувствовав холодок между мокрых лопаток, Фрося стряхнула с себя вязкую отрешенность.

Добралась до нижних лап кедра, раздвинула их и грудью прижалась к шершавому стволу: «Знай, кедрушка, как оно стучит за двоих. Во мне жизнь новая к свету пробивается. Не говори об этом никому».

В дом она вернулась за полночь. Михаил Иванович не слышал её возвращения.

Летом родилась дочь, Анастасия Михайловна Слепцова. Молодой маме забот добавилось, но несравнимо больше добавилось неумной, жизнеутверждающей радости. Но душевного покоя не было, а надежды на счастливую замужнюю жизнь рушились и таяли.

Муж не старался быть опорой, той горой, за которой ей хотелось бы спрятаться. И дочка не сблизила их, не сроднила. С Михаилом Ивановичем Фрося по-прежнему чувствовала себя подавленной, зависимой, словно её лишали свежего глотка воздуха и воли. Нервный, неласковый, он и дома оставался для неё директором. Его не интересовали её тревоги и радости. Без отцовского внимания, участия, любви оставалась и подрастающая дочурка. Лишь изредка он брал Настеньку на руки. От редкого общения с отцом, малышка начинала

плакать, перепуганно тянуть ручонки к матери. Слепцов раздражался, поспешно клал дочку на кровать и выговаривал Фросе, что не приучает ребенка к отцу.

Он мог неделями не разговаривать с женой или начинал истерично кричать, когда она в чем-то перечила ему. Фрося понимала, таким его сделали война и потеря семьи. Но уже не переносила бесконечных ссор, крика, терялась в бессилии перед ним. В красинском доме, сколько помнит, мужчины не ругались с женщинами. Может, напрасно глубоко в себе затаила семейные обиды, недомолвки, страхи и давно надо было дать супругу отпор? Всё надеялась, что тот посмотрит на себя со стороны, устыдится, повинится и станет, наконец-то, пускать корни на плодородном и богатом красинском подворье. Нет.

Постепенно Фрося поняла: из «завидного жениха» завидного мужа не получилось, хотя селянки откровенно завидовали ей. Слепцов продолжал жить отдельной, только ему понятной жизнью. Наслаждался трудовыми успехами леспромхоза, похвалами начальства. Страдал и побеждал. Всегда на острие событий, в центре людского внимания. Один, без Ефросиньи. Большая ли разница в возрасте, жизненном опыте, или что-то другое пропастью встало между ними. И мост через стремнину навстречу друг другу они не строили.

После родов Ефросинья поправилась, похорошела. Селяне находили её сходство с дедом

Георгием, называли красавицей. Она и была ею: статная, белолицая, с пышными светло-русыми волосами.

Михаил Иванович же будто и не замечал её молодости и привлекательности. Наоборот. Ефросинья часто ловила его откровенные взгляды на других хорошеньких женщинах во время посещений кино или праздничных застолий. Случалось, и ночевать домой не являлся. Объяснял выездом на дальний лесоповал с комиссией из района. Мог бы записку в конторе оставить. Фрося в конце рабочего дня обязательно заходила в бухгалтерию с отчётами. Но муж не считал нужным объясняться.

Как-то, после очередной «ночной работы», они поссорились. Михаил Иванович полез в драку. В рабочей красинской семье такого себе никто из мужиков не позволял.

Фрося готовила ужин, когда он набросился на неё с кулаками. Впервые она рассвирепела. Схватила попавшееся под горячую руку полено. Слепцов в бешенстве выскочил из дома и два дня не появлялся. Но после этого случая, никогда уже не пытался дурную силу выместить на жене.

Не раз она пробовала поговорить с ним по душам, объясниться. Но Михаил Иванович опять и опять поднимал истеричный крик, обвинял в слепой ревности, грозился уйти жить в гостиницу. Их любовь, как капли воды, неумолимо уносил поток времени. Второй раз в эту же речку Ефросинье входить не хотелось.

Встречая мужа с работы, уже не летала перед ним ласточкой, не звенела серебряным колокольчиком, как бывало раньше. Не унижалась. Училась не втягиваться в ссоры. Ранимая и впечатлительная, старалась реже бывать с ним на людях. Смирилась, не ревновала, не ревела белугой, не мочила подушки по ночам, совсем остыла к мужу душой. Первую и долгожданную, непонятую и неиспитую любовь она замкнула в потаенных темницах на прочный замок.

Не приобрел в Слепцове долгожданного хозяина и красинский дом. Потому не принимал и не понимал чужака. То ли от занятости, то ли от нежелания, тот не прикладывал к дому рук: не обновлял, не чинил, не прихорашивал. Не приумножал удобств его, а только бездумно ломал, ниспровергал вековые постройки. Дом ветшал.

После рождения дочери, Ефросинья с головой окунулась в бездонные материнские чувства, пестовала свою кроху — свет жизни, единственную отраду.

В три годика Настенька простудилась. Позвонили из садика: у дочки высокая температура, пневмония с осложнениями. Слепцов в этот день уехал в город. Ефросинью с больным ребенком увезли в районную больницу, а через день — в краевую клинику. Так ни разу и не появился: «Разъезжать работа не позволяет».

Девочка ослабла, ничего не ела и быстро угасала. Егоза, непоседа, щебетунья Настенька на десятый день болезни перестала вставать с постели, разговаривать. Врачи засомневались, что она будет жить, и лечащий врач откровенно сказал об этом матери. Ефросинья увезла дочку домой. С фельдшером из местного медпункта Валентиной Николаевной, лекарем от Бога, опытной, ласковой, они поочередно дежурили у кровати. Уколы, обтирание настоями таежных травок, сон под кедром свершили чудо. Кризис миновал. Оставалось выходить, вернуть Настеньку к радостям детства. Пришлось уйти с работы. На полное выздоровление дочки ушло больше года.

К этому времени слег Михаил Иванович. Все годы совместной жизни румянец на щеках мужа воспринимался Фросей как избыток его здоровья. Но, оказалось, фронтовые окопы, ранение в правое легкое давно уже дали о себе знать. И первый же рентгеновский снимок показал запущенный туберкулез. Лечь в стационар муж наотрез отказался. Не мог — или не хотел? — лечь в больницу.

Как и в случае с Настенькой, на выручку семье пришла Валентина Николаевна. После работы ночевала в красинском доме и ночью лечила Слепцова. Но её бдения запоздали. Запущенная болезнь не отступала. Михаила Ивановича с высокой температурой почти насильно увезли из кабинета в туберкулезный диспансер, где он пролежал более трех меся-

цев. А весной открылось легочное кровотечение.

Оставшись вдовой, Ефросинья вновь приняла свое лесничество. Настю отдала в детсад. Готова была работать сутками, лишь бы малышка ни в чем не нуждалась.

Растить дочку помогали старики Рыжиковы. Частенько Настенька из садика сама прибегала к ним, благо, жили рядом.

Вечером мать забирала дочку, но, если оставалась на вторую смену, то девчушка охотно ночевала у деда с бабой. Старики обожали её, считали родной внучкой и даже отписали Настеньке в завещании всё, что имели.

Дочь быстро подрастала. Лицом и характером походила на отца. Была озорной, общительной. У неё было много подружек, но деда с бабулей любила больше всех.

Настя готовилась к выпускным экзаменам в школе, когда Степана Матвеевича и Галины Семеновны не стало.

6.

После института Анастасия вернулась в родной леспромхоз на должность экономиста. Теперь она с матерью виделась чаще, чем в пору детства и юности. Ни с кем из сельских парней не дружила, не торопилась с замужеством, хотя спасские сверстники поглядывали на неё с интересом.

Ефросинья подталкивала свою недотрогу к общению с ними, но дочка противилась, даже

обижалась. Зато в конторе стали поговаривать, и это дошло до матери, что Настю не раз видели с бригадиром залетной строительной бригады Богданом Бесовым, «писанным красавцем». Видно, кто-то из его предков был цыганом: темперамент, смоляная чернота волос, смуглая кожа. Богдан пел, плясал, играл на баяне, чем привораживал к себе женщин.

Как-то в конце весны дочь не пришла домой ночевать. Иногда Настя после танцев с подружками оставалась в рыжиковском доме, поэтому Ефросинья не придавала этому значения.

Утром на работе та лукаво отшутилась.

«Дай-то Бог! Может, задружила с кем? — подумала Ефросинья. — Не маленькая, допросы ей учинять. Сама себе хозяйка».

А дочка бывала дома реже, реже. И так прошло лето.

Спросила как-то:

— Может, расскажешь, дочка, где и с кем ноченьки проводишь?

Настя залилась румянцем и, как в детстве, опустила глаза, склонив набок голову:

— Мамуля, я встречаюсь с Богданом Бесовым. У нас будет ребенок.

Ничего худшего Ефросинья не ожидала от неё услышать.

— Совсем обезумела! — запричитала, оторопев. — Разве не видишь, что он собой представляет? Или ослепла от счастья?

Настя, плача, выскочила из дома и не появлялась, пока «калымщики» не поехали на другой объект края.

Автобус уже трогался с места, когда Богдан признался:

— Давно хотел сказать...

— Что? — окаменела Настя.

— Что-что? В городе у меня жена... И дети...

Не произнеся в ответ ни слова, не чувствуя себя и своих ног, Настя едва дошла до рыжиковского дома, где дала волю слезам.

Когда Настя вернулась, её нельзя было узнать, словно прошла все круги ада.

— Доченька, прости меня, окаянную. Прости обезумевшую! До какой дурноты я дошла!

— Не надо, мама, из-за меня, глупой, убиваться. Богдан бессовестно обманывал, а я верила. Только перед отъездом решил сказать правду. Дети у него в городе. Что мне делать?!— и упала на кровать, беспомощная, убитая предательством любимого человека.

...Ефросинье почему-то вспомнилось, как однажды, возвращаясь из лесничества домой не дорогой, а лесом, попутно собирала грибы. Прямо из под ног выпорхнула крупная копалуха, самка мошника, и полетела к осиновому околку. Непроизвольно следя за её бреющим полетом, заметила в метрах ста от себя гуляющую парочку.

Замедлив шаг, стала с любопытством наблюдать за ними. Они тоже шли в сторону се-

ла, громко смеялись и целовались. «Какое счастье, так вот любить и радоваться друг другу». Позавидовала им. Подошла ближе. И... узнала в мужчине мужа, а рядом — молоденькая библиотекарьша Нюра, недавно приехавшая из города.

Она тогда в неистовстве разбросала по кустам собранные ею грибы, металась между деревьев кругами, рыдала и проклинала паскудника. Потом бросилась бежать в обратную сторону. На миг оглянувшись, не обнаружила ли себя, увидела, как любовники торопливо скрылись за старой развесистой черемухой.

«Нет, этого дочке не стоит рассказывать. Пусть память об отце будет у неё чистой и светлой».

Подойдя к Насте, подняла её с кровати и крепко прижала к себе.

— Спрашиваешь, что делать? Рожать мне внука, вот что делать! Успокойся, вытри слезы. Тебе теперь вредно расстраиваться, внука моего тревожить, поняла? Любовь залетная, как пришла, так и уйдет. А селяне посудачат и успокоятся: никому из них горя не принесла, ни у кого счастья не украла!

7.

Пришло время, и Ефросинья увезла Настю в районный роддом, хотя та собиралась рожать в Спасском. Мать убедила: первые роды — дело не шутейное. И правильно сделала. Роды едва не закончились трагически. Сы-

нуля родился крепышом: рост — пятьдесят три сантиметра, вес — около пяти килограммов. Таким богатырем и селян удивишь. Но после его появления на свет, у Насти открылось сильное кровотечение. Спасибо врачам и донорам, иначе и подумать страшно, что могло случиться.

Бабуля летала на крыльях, забирая домой дочь с внуком. Да как ей не летать! Появился Павел Красин! Продолжатель рода, надежда, её солнышко.

«В нашем скорбном доме теперь навсегда поселятся радость и покой. Стены пропитаются детскими ароматами, запахами, наполнятся звонким ребячьим смехом. По старым приметам, от одного духа описанных пеленок нечисть из углов вмиг исчезает».

Внука назвали в честь погибшего под Москвой деда Павла, любимого брата маленькой Фроси. Смоляные завитушки на головке и глазки — два озорных уголька, — это мальчонка унаследовал от отца, Богдана Бесова, но кожей вышел в бабулю — белену. И норовом удался в красинскую породу.

Рос Павлушка в бесконечной любви и неустанных заботах о нём двух женщин. Был шустрым, здоровеньким. Сосал материнскую грудь без усталости, ненасытно. И, если Настя пыталась насильно отнять у него кормилицу, он прикусывал сосок, да так больно, что мать вскрикивала.

— Ишь, ты, бесёнок, какой настырный! Чего над матерью изгаляешься! — Ефросинья брала на руки пухленького, раскрасневшегося от сытости внучонка. Носила его по дому «столбиком», чтобы мамкино молоко не срыгнулось.

В семь месяцев Павлушка ползал, в девять — зубов имел, казалось, полный рот. Но они лезли и лезли. Видимо, донимали малыша зудом: тащил в рот, что попадалось в быстрые ручонки, и все это нещадно грыз. Попробовал на зуб ножки табуреток и стола.

Когда не удавалось вцепиться в очередную «жертву», недовольно, по-кошачьи, морщил ёжиком носик, подползал к бабуле и пытался укусить её за ногу.

— Сейчас получишь! По заднице тебя, по заднице! Будешь еще об меня зубы точить, — игриво воспитывала она любимца.

В школе Павлушка был крупнее одноклассников. Неплохо учился. Замечания от учителей касались только поведения: непоседа, озорник, заводила. И дома выдавал день ото дня что-нибудь новенькое.

Ефросинья улыбнулась, вспомнив, как однажды он ел пельмени.

Тогда, встретив внука у ворот, она любовно потрепала его быстро отрастающий чуб, и они, обнявшись, вместе вошли в дом.

— Поди, опять накидался гантелей, совсем исхудал. Садись, ешь пельмешки, бесенок мой.

— Во, ба, это блюдо я люблю!

Ефросинья достала из погреба кринку отстоявшегося молока, сняла в тарелку вершок, наполнила её до краев горячими пельменями. Через минуту Павлушка уже прилетел к ней на кухню.

— Ты чего не ешь-то? — удивилась она.

— Так я все съел.

Ефросинья подошла к столу.

— А это что? — и показывала внуку выпотрошенные сочни.

— Не, ба, я кожурки не ем.

— А раньше ел.

— Глупый был.

Наголодавшись в военное время, Ефросинья сытый желудок считала божьим даром и старалась кормить семью досыта. Павлушка в десятом классе вымахал повыше красинских предков. Занимался в спортивных секциях. По боксу имел первый юношеский разряд. Любил поесть, особенно бабулины блины. Она пекла их одновременно на трёх сковородках и едва поспевала за ненасытным проглотом.

Как-то перед концом блинной трапезы, он громко взмолился:

— Все, ба, сейчас объемя, — потом тихим голосом добавил, — и помру молодой.

Из-за суеты со сковородками, Ефросинья этих слов не расслышала, ответила внуку лишь на громко сказанное им:

— Ну, и слава Богу, зато насытился!

Долго помнили эту нескладушку и смеялись.

Школу внук окончил без троек. После выпускного вечера бурно обсуждали, куда ему поступать. Бабуля категорически настаивала на медицинском. Мать молчала. Но Павлушка твердо заявил:

— Хочу быть настоящим спортсменом — боксёром, выступать за сборную страны.

— И не стыдно тебе, такому бугаю, без профессии по жизни мыкаться? Что за дело такое, спорт твой? Им от безделья маются. Ты же учился и боксом своим натешиться успевал. На тебе в самую пору новину пахать да из лесу вековые деревья таскать, а ты будешь по бабьи ручками туды-сюды физкультурить. Не одобряю это баловство.

— Ба, ты не права. Спорт требует глубоких, точных знаний многих наук, в том числе и медицинских, — пытался настаивать на своем Павел.

В разговор вступила Настя:

— Мама, а может, он прав?

— Не смей потакать ему! Не хочет быть врачом, мог бы на лесничего пойти. В людском уважении прожили красинские мужики, имея одну родовую профессию. Ни копейки от пенсии не дам на пустяшную учебу.

Ефросинья давно не была так расстроена. Вышла на подворье, прислонилась к кедру и расплакалась. Всю ночь проворочалась в постели, не заснув. Измученная бессонницей, добралась и до своей персоны. Это было отличительное качество её характера: уметь посмотреть на себя со стороны: «Что я, макитра дырявая, разошлась, расшумелась? Встаю поперёк пути внуку, как гнилая коряга на тропе! Парень с малолетства этим спортом живет, надрывается. Значки, грамоты имеет, а я тут раскудахталась», — и к утру смирилась с решением внука.

Встав до зари, наготовила еды полный стол. Настя поела и ушла на работу, не вспоминая вчерашнего материнского гнева. Вскоре поднялся Павлушка. Он никогда в постели не залеживался. Находились срочные дела по дому и в школе. Чмокнув бабулю в щечку, стрелой полетел к колодцу, где второй год подряд после сна обливался ледяной водой, не пропуская и студеную зимушку.

Босой, раздетый до трусов, после процедуры вбегал домой, как ошалелый. Быстро обтирался полотенцем, одевался, обувался в валенки и пил горячее молоко. Ефросинья любовалась его молодым телом, гордилась: красивый характер.

— Садись за стол, бес мой ненаглядный. Поешь оладышек, запеканок.

Павлуша с опаской посмотрел на нее.

— Не бойсь, ругаться с тобой боле не буду. Как надумал, так и действуй. Вечером с матерью снарядим твой отъезд в город. Сдай документы, поинтересуйся, порасспрашивай знающих людей. И вот еще что. Поклянись мне, внучек, что не будешь никогда по жизни валять дурака, не запятнаешь наше фамильное имя. Твои прапрадеды и деды за нас жизни отдали, земля им пухом. Помни это! И ещё, не при матери будет сказано, не ищи отца своего. Он предал и тебя, и твою мать. Мне будет больно, если унизишься перед ним.

В институт Павлушка поступил легко, успешно сдав экзамены. Ему дали повышенную стипендию: на неделю-другую кое-как прокормиться хватало. Домой приезжал два-три раза в месяц, всегда с друзьями. Ребята не пьющие, услужливые, добрые. Ефросинья с Настей кормили их досыта, парили в бане, набивали в дорогу сумки деревенской вкуснятиной.

На втором курсе Павел выполнил норматив мастера спорта по боксу, стал чемпионом области.

В школьном музее появилась его фотография и несколько газетных вырезок о нём. Настя, по просьбе директора, отдала и его школьные фотографии. Сыну это не понравилось.

— Мама, ничего заслуживающего внимания к моей персоне, я еще не достиг. Попаду в сборную, завоюю золото на Олимпийских иг-

рах, тогда будет, что сказать, а сегодня уберите меня с пьедестала. Честное слово, неловко перед учителями и ребятами.

Но для родного Спасского он был уже кумиром.

8.

Всю неделю Павел пропадал в тайге, наслаждаясь дарами «собственных» лесных «огородов», которые давно заприметил. Теплые августовские дожди до срока выгнали из грибниц его любимые рыжики и лисички. Он один пользовался ими. Никто из селян сюда не добирался. Далековато. За тремя распадками.

Рыжики росли в сыром месте у давно нарезанных лесничими и когда-то глубоких борозд— хранильниц от пожара. За многолетие борозды осыпались, поросли лесной травой. В их многочисленных канавках и желобках надолго задерживалась талая и дождевая вода, беспрепятственно и щедро светило солнышко, что и было нужно для размножения и процветания огромных колоний оранжевого чуда.

Лобастики, так их называл Павел, гнездились разновозрастными семьями: от чуть приподнявшихся над росистой травой до великанов, с мужскую ладонь, уже покрывшихся зеленоватым налетом.

Этим Павел особенно радовался. Ел сырыми, домой носил трехведерными коробами, а

Ефросинья солила их в травяных отварах из черемуховых да калиновых листьев. «Одним духом сыт будешь, хоть на хлеб его мажь!» Восторженно нахваливало бабулино мастерство голодное общежитское студенчество, открывая к картошечке в мундирах очередную банку с солнечными грибами.

...Близился полдень. Засосало под ложечкой. Пора обедать. Павел расположился на мшистом взгорке у заневестившихся сосенок, на гибких ветвях которых празднично красовались маленькие зеленые шишечки. Приступил к трапезе. Отобрал понравившиеся ему «лобастики», очистил, разрезал на дольки, посыпал солью. И долго ел их с таким аппетитом и наслаждением, будто впервые отведал с царского стола заморское яство. Вкус и аромат свежих рыжиков с бабулиным подовым хлебом были ни с чем не сравнимы.

Насытившись, вышел из соснячка и направился поближе к опушке собирать лисички. Они оранжево красовались перед ним на высоких, толстых ножках. Павел с детства почему-то назвал их «зайчатками». Может, в садике, а, может, еще где-то увидел оранжевого игрушечного зайчика, понравившегося ему и позже нашедшего сходство с оранжевыми грибами, прыгающими по высокому папоротниковому травостою.

Лисичья грибница петляла, извивалась нескончаемой змейкой то по редколесью, а то упиралась опять в густой хвойник. Причуд-

ливість «зайчаток» напоминала выдутые из огненного стекла сказочные цветки. Даже мало обученный эстетике грибной червяк не осмеливался нарушить их красоту и изящество.

Бабуля тоже ценила Пашиных «зайчаток» и пользовала как праздничный десерт и проверенное лекарство.

На сумеречном небе высветились первые звезды, и Павел с полным коробом грибов и охапкой пихтовых веников за плечами направился домой. Придя из леса, заспешил в баню. Ефросинья, провожая его крестным знаменем, наказала:

— В бане-то не заночуй! Скоро ужин поспеет. — Она высыпала на чугунную сковородку со скворчащим топленым маслом миску свежих оранжевых кубиков.

— Ба, да сыт я! Хворосту твоего успел налопаться.

— Хоть лупень-залупень его! Ково там есть-то? Много кусашь, да мало глоташь. Разве это еда? И в лес идешь, с собой, окромя хлеба, ничего не берешь. Чем жив только, не знаю...

— В тайге-кормилице сейчас еды — не переешь! Всякой ягоды и корней вдоволь. Сама ведь с детства приучила.

Павел заметил, как Ефросинья смахивала с лица слезу за слезой.

— Ба, ну, что опять! Гляди, какой я здоровенный! Мужик под два метра, а ты расстраиваешься.

— При матери завсегда боле месяца на каникулах был, а уж второй год неделкой балуешь. И ту, считай, в тайге провел. Не успеваю насмотреться на тебя, как уж в город собираться. Так совсем от дома отвыкнешь, — Ефросинья разрыдалась.

— Бабуля! По два-три раза в месяц приезжаю. И тебе ли не знать, как привязан к дому? С пеленок, помню, больше к тебе тянулся, чем к матери.

— Нехорошо говоришь, Паша, нехорошо. Мать — завсегда мать. Превыше всех. Она Богом дается! А ты вот и письмо ей не поторопился написать. А что уехала — и тут ты не судья ей. Все под Богом ходим.

Павел впервые за последние годы крепко прижался к бабулиной груди. И так в полном понимании затянувшегося горького молчания, изливали они друг другу самое сокровенное, годами глубоко затаенное. Каждый — свое. Уже пережитое и еще переживаемое. Вслух ни перед кем не произносимое и никому не доверенное.

Очнувшись от долгого душевного оцепенения, повеселели.

— Прорвемся, ба! Прорвемся...

Павел привычно чмокнул Ефросинью в мокрую щеку и заспешил на подворье. Наломал у забора крапивы, связал её тряпицей в тугий веник и нырнул в баню. Напарившись до устали пихтовым веничком, в предбаннике нещадно хлестал себя обжигающими, ветвис-

тыми, злющими крапивными стеблями, оставив от них одни зеленые лохмотья. И снова улегся на полке, изворачивался, пыхтел под смолянистым веничком, ухая и счастливо взывая. Он бы еще десяток раз поддал парку, но, помня бабулин наказ, прервал излюбленное банное таинство.

Отужинали грибной жарехой на сметане.

— Ба, пойду-ка я в село. С одноклассниками повидаюсь.

— Коль надумал, сходи. Может, голубу каку себе присмотришь. Пора уж, однако.

Вечер утопал в зыбком мареве тайги и в сохранившем дневную душистость травостое.

Щедро светила луна, и было слышно, как переговаривались между собой запоздавшие ко сну птицы.

Павел, сам того не замечая, оказался у сельского клуба. Из открытых окон в тишину ночи неслась хитовая музыка. Танцы были в самом разгаре. Он вошел в зал. И сразу к нему навстречу хлынула толпа не танцующих, стоявших у дальней стены парней.

— Вот здорово, что ты пришел, Павел! Часто читаем о тебе в газетах, а ты все не приезжаешь. Расскажи о себе.

Их лица светились неподдельной радостью встречи.

— Вот уж неделю у бабули, как сыр в масле, катаюсь. По тайге гуляю. Завтра опять в город уезжать. Если честно, надоел он мне...

— Неужели взаправду сюда, в медвежий угол, тянет? — не унимался Ваня Семкин.

— Вот окончишь школу, уйдешь в армию или в вуз поступишь, наживешься, намыкаешься среди чужих, тогда поймешь, что такое село наше... Ладно, не будем о грустном. А вы как тут поживаете?

— Да мы что! Сенокосим, поленицы до небес выкладываем, с девчонками пашни водим.

Ваня лукаво глянул в сторону девчат, которые в простеньких ситцевых платицах гомонили у раскрытого настежь окна. Павел тоже поглядел на них. И вдруг взгляд его на мгновение зацепился, задержался и замер на высокой, темноглазой девушке с рыжими, свисающими ниже пояса косами. Красивую головку её золотистым ореолом обрамляли мелкие в колечко завитушки. Его словно стрела пронзила! Точеная девичья фигура притягивала внимание и других парней. Это Павел сердцем почувствовал.

Продолжая разговаривать с ребятами, стал пристально вглядываться в крутящееся в вальсе оранжевое солнышко: «Ну, точно зайчатка!».

Сметливый Ваня уже перехватил его зависший взгляд на одном, не виданном ранее «объекте», и добродушно посоветовал:

— Не теряй понапрасну время, а то поздно будет. Хороша! За ней многие ухлестывают, да только не милы мы ей.

Не назвав её имени, заметно погрузнел, опустил глаза и отошел.

— Это Катя Земцова, — негромко, только для Павла, произнес Ванин друг Андрей Смирнов. — Ее семья из райцентра переехала. Мы с Катей — одноклассники. её родители в леспромхозе устроились, а живут они в заброшенном доме бабки Крокодилихи. Помнишь, наверное? У неё был сын Петр. В Афгане погиб. Вскоре и бабушку похоронили...

Павел впервые почувствовал себя беспомощным и уязвимым. Ему захотелось немедленно покинуть мужскую компанию и ринуться к Кате — лесной колдунье, мгновенно опалившей его разум и волю. Но он словно окаменел, пристыл к полу и продолжал отвечать на вопросы о краевом чемпионате, где он в очередной раз стал чемпионом, о городской жизни, конкурсах в вузы.

А сам, поглядывая на щебечущую стайку симпатичных сельянок, отыскивал взглядом постоянно куда-то исчезающий золотистый магнитик. Но подойти к заинтересовавшей его девушке и пригласить на танец не решался. Успел, однако, заметить, что она прекратила разговоры с подружками и, в очередной раз стрельнув в его сторону задиристым взглядом, вышла на улицу.

И тут же был потерян его интерес к плотно смыкающемуся вокруг ребячьему кольцу. Переждав еще несколько томительных ми-

нут, Павел солидно пожал всем руки и, не торопясь, покинул клуб.

Вязкая прохлада осенней ночи взбудрила его. Привыкнув к обволакивающей, непроглядной тьме, оглядевшись по сторонам и не обнаружив Катю, он направился к пристани, где обычно после танцев собиралась неугомонная, жаждущая продолжения веселий и общений молодежь.

Вскоре оттуда донеслись приглушенные всхлипы баяна и распевно стонущий шелест волн, тихо бьющихся о прибрежный песок и гальку.

У Павла екнуло сердце: «Может, она где-то здесь?». И ругнул себя, что оставил девушку наедине с ночью. Хотя знал, что в Спасском это не опасно. Но всё же мог бы набраться смелости и подойти к Кате, познакомиться, домой проводить.

Огромное желание быть с ней рядом заставило его обойти всю территорию пристани. Мимоходом перемолвился с двумя одноклассниками, которые, видно, крепко подружились с приезжими из города паромщиками. Постоял у парапета, наблюдая за дремлющим и негромко вздыхающим на порогах Енисеем, распластавшимся черным сказочным великаном у подножья спящих Саян.

Кати нигде не было. И сердце Павла наполнилось предчувствием чего-то навсегда упущенного и непоправимого: «Небось, прогуливается с кем-то...».

Он поднялся по крутой лестнице, упирающейся в главную улицу села. Перешел на еловую аллею, недавно посаженную старшекласниками. Аллея преобразила все в округе. С детства знакомая каждым кустом и забором улица стала неузнаваемой, похожей на городской сквер.

... Откуда-то вынырнула и виновато улыбнулась подгулявшая луна. её тихо звенящее серебро, как из большого ковша, лилось под ноги загрустившего Павла, и травянистая дорожка далеко просматривалась. Беседки тоскливо пустовали.

И только мысль о наступающем зоревом часе и о том, что Катя обошлась без провожатых и давно дома, немного успокоила Павла. Он тоже заспешил домой.

Ефросинья сидела на крыльце, укутавшись в старый, связанный ею еще в девичество плед.

— Ты чего, бесенок, блудишь? Уж зори блещут. Ишь, как небо над Саянами порозовело! Небось, к деве придружился? Они-то ноне и сами на шею хомутом вешаются.

И ревниво глянула на Павла.

— Да что ты, ба! На пристани с парнями проболтали весь вечер.

Он не умел и не хотел обманывать Ефросинью, но и откровенничать с ней пока было не о чем.

Ранним утром Павел уехал в город.

Едва дождавшись конца недели, вырвался на денек домой. Сойдя с автобуса, сразу направился к дому Василины Крокодилихи. Подойдя к нему ближе, услышал визгливые пьяные крики мужика, потом чьи-то рыдания.

— Ах, ты мокрица болотная! — продолжал надрывать голос буян. — На несчастную чекушку родному отцу денег пожалела. Зачем только породил себе на горе такую змеищу! Подколотную! Жадюгу-у-у! — пискливо взывал он. Потом двери в сени захлопнулись, и за воротами все стихло.

Павел не решился войти в дом в такое неподходящее время и постучал в окно рядом живущего Андрея Смирнова. Тот вышел на улицу в одной майке, стареньких залатанных штанах и босиком. Он мигом уловил, что к чему, и побежал к Земцовым.

Не прошло и пяти минут, как Павел увидел Катю с Андреем. Ожидание показалось ему вечностью. Он почувствовал прохладу бегущих между лопаток ручейков. Руки непослушно дрожали.

Андрей перебросился с Катей несколькими фразами о домашнем задании по алгебре, и поспешно распрощался. На ходу, обернувшись, многозначительно озорно и ободряюще подмигнул кумиру.

А Катя, приветливо поздоровавшись, не поднимала на него заплаканных глаз. На ней был старенький, давно вышедший из моды синий болоньевый плащ. её распущенные во-

лосы перекатывались по нему золотистыми волнами, играющими в закатных лучах солнца всеми цветами радуги.

От домашних неурядиц ли, а, может, от неожиданной встречи на её загорелых щеках спелым призывным яблочком вспыхнул румянец. Черные глаза блистали зоревыми сполохами.

Она была юной и прекрасной.

Вскоре у обоих было ощущение, что они давно знакомы. Пройдя по аллее, спустились к Енисею, ворчливо отмахивающемуся белоголовыми, пенящимися бурунами от назойливых порывов ветра.

Казалось, и малиновый закат радостно махал им пушистыми макушками раскачивающихся пихтачей.

Так и бродили они вдоль берега до наступления сумерек, наконец-то нашедшиеся и счастливые, наблюдая за свинцовой проседью тревожной реки и прогулочными катерами. Непринужденно, задорно болтали о своих школьных приключениях, ночевках у искристых таежных костров, ловле на перекатах горных речушек непременно черных и длинных хариусов ...

Да мало ли еще о чем могут говорить прожившие врозь шестнадцать зим и весен истосковавшиеся и влюбленные души!

Поздним вечером Павел проводил Катю домой. Договорились о новой встрече. И хотя о взаимных чувствах не было произнесено ни

слова, Павел знал, что эта встреча и есть начало того, главного в его жизни, чего так не доставало ему, и ради чего он будет жить.

9.

Настя познакомилась с Антоном Миллером, приехавшим из Германии на установку импортного оборудования в леспромхозе. Стали встречаться. Как-то, уходя на работу, попросила мать приготовить к ужину чего-нибудь вкусенького.

— Никак своего иностранца в дом пригласишь? — наигранно безразлично спросила мать.

— А ты откуда о нем знаешь? — без обиды, удивленно и озорно ответила на вопрос вопросом Настя.

— В нашем селе можно от кого-то чего-то скрыть? Ладно, приводи. Ни разу в жизни не видела иностранцев, — иронично и весело смотрела на дочь Ефросинья. Но руки выдавали её волнение, когда поправляла дочери прическу.

После ухода Насти весь дом был перевернут, перемыт. Диван и кресла в горнице накрыты невесть откуда взявшимися новыми бархатными накидками. Дощатая дорожка от крыльца до парадных ворот выскоблена. Откуда только сил набралась и прыти? «Чем его, нерусского, кормить-то? Дал же Бог, немца! А стоит ли голову ломать? Пусть уважает нашу пищу», — и налепила пельменей.

К приходу гостя на столе яблоку негде было упасть. Сама выглядела помолодевшей, нарядной.

Антон сразу понравился ей: крупный, темноволосый, а главное — простой и приветливый. Неплохо говорит по-русски, только с акцентом и слова тянет. Рассказал о себе, родителях, старших братьях. Они давно женаты, живут в других городах. Долго учился, помогал братьям строиться. Живет с родителями в их доме. Работают с отцом на заводе в пригороде. Холостой.

— Наши русские мужики тоже — в командировках все холостые, — улыбнулась Ефросинья.

— Нет, я не обманываю. Пришел к вам, Ефросинья Ивановна, по важному событию в моей жизни. Прошу — как по-вашему сказать? — Настиной руки.

В горнице стал слышен звон капли подтекающего кухонного крана.

— Я полюбил её. Мы будем жениться, правда, Настя?

Он замолчал, подошел к Ефросинье, поцеловал её натруженную, шершавую руку. Обнялись, почему-то оба расплакались. Настя крепко прижалась к ним.

— Ефросинья Ивановна, можно мне вас называть мамой?

— Буду рада, если просьба от чистого сердца. Этим, Антон, грех лукавить.

Он снова поцеловал ей руку. Настя тоже встала перед матерью и, словно семнадцатилетняя девчонка, смущенно, стыдливо обратилась к ней:

— Мама, я решилась на замужество. Благослови нас с Антоном.

— Как-то быстро у вас все сложилось. Не торопитесь? — всхлипывала взволнованная неожиданным сватовством Ефросинья.

— Я скоро уеду, работа заканчивается. Будем с Настей делать много документов, потом приеду за ней, — пытался объяснить ей Антон.

— Вот, тогда и благословлю, — сказала она строго.

Через три месяца Антон вернулся за Настей. Ефросинья приготовила дочке приданое, пригласила полный дом гостей. Работники леспромхоза, Настины подруги три ноябрьских праздничных дня весело отплясывали на свадьбе. Спустя два дня зять увозил избранницу на далекую родину.

— Антон, почему не упаковываете приданое? Или не понравилось?

— Понравилось очень, мама, спасибо. Но для него и самолета не хватит. У нас тоже есть. Моя мама купила нам с Настей. Я хорошо зарабатываю. Мы и еще купим. Приданое пригодится Павлу. Он уже большой жених.

Прошло около двух лет, но в гостях Миллеры пока не побывали. Собираются приехать к Новому году. Настя пишет, что не работает,

языка не знает. А родня Антона относится к ней хорошо, называют русской красавицей.

Родился сын, Робертом назвали. Отец и братья Антона помогают им строить большую виллу. «Тебе, мама, и Павлуше места тоже хватит».

Приглашают сына и Ефросинью переехать к ним на постоянное жительство. Но внук и слушать не хочет: «Я сибиряк и в Сибири сгожусь».

Замужество, особенно выезд матери за рубеж, не одобрил. Ефросинья старалась сблизить его с новой Настинной семьей, но Павел только хмурится, отмалчивается. «Зимой свидятся, поговорят. Даст-то Бог, добром обойдется, — вздыхая, думала она. — Заставлю матери письмо написать. Совсем от неё отвыкнет. А каково ей там, на чужбине?».

10.

У Енисея во всякую погоду ветрено: неотъемлемым чревом, несметной силой катит он гигантские волны к старшему брату Океану, подхватывая и подчиняя себе огромные воздушные потоки. Оттого-то и всякого ветерка вблизи его нахлебаешься: и вкрадчиво ласкового, и буйно штормового. Могуч Енисеюшка водами своими. И нет равного ему по силе на всей земле российской.

Недобрые людские умы и руки однажды обручами сковали его, навсегда разлучили с прежними просторами, волей вольною. Да

так и не стреножили царь-батюшку, непобедимого и непокорного.

Отдал он людям только ими требуемое: светит и греет денно и ночью. А сам, вырвавшись из тугих пелен, расправив богатырские плечи, катит волны ближе и ближе к северу, где вдоволь опять разгуляется да напьется досыта чистой студеной водицы сибирских сестриц — красавиц Ангары и Подкаменной Тунгуски.

Ими и будет вечно жив.

Еще мальчишкой любил Павел понаблюдать, как река с солнышком общаются. И заметил, что вытягивается она перед ним синей лентой и рвется ввысь всем нутром своим. Будто ей русла мало. Радостно искрится в ласковых игривых лучах его алмазной россыпью мелких капель да воздушных пузырьков. Шлет ему на протянутых в небеса могучих руках в подарок звенящие да переливающиеся самоцветами волны.

Павел не раз ощущал их вкус и влагу на губах. Помнился ему с детства пряный рыбный запах реки, когда, изодравшись до крови по тальникам и колючим кустам, добирался до сыпучего края скалистых, круто обрывающихся и густо поросших хвойниками берегов. Крепко ухватившись одной рукой за гибкий ствол молодой ели, зависал над ревущей, грохочущей, свинцово-изумрудной водой, чтобы посмотреть на неё с мало кому доступной крутизны.

Енисей будил его фантазии. Явственно виделись запряженные им в одну упряжку несчетные табуны белогривых лошадей. В безумстве ярости они оголтело неслись и со всего маху ударялись о светлые своды горизонта...

Порой казалось, что река течет одновременно во всех видимых направлениях, повинаясь только повелениям его мальчишеского воображения. И даже причудливые, ужасающие очертания бурунов он восторженно принимал за белоголовых всадников, восседающих и колышущихся в такт лошадиного аллюра.

Напротив дома Красиных, у Марьиной косы, подводные пороги и гремящие, клокочущие ключи сильно меняли течение реки. Словно заглатывали его, прокручивали на скоростных подводных каруселях, разгоняли до бешеной скорости и с неистовством выталкивали, выплевывали на поверхность, ускоряя и без того стремительный поток. Вода кружила и пенилась, по-звериному грозно и раскатисто рычала.

... Нечастые свидания с Катей запоминались Павлу не датами, а все разгорающейся между ними любовью. Он сохранял в душе все малейшие подробности их встреч: летящие движения её гибкого тела, трепетных рук, пахнущих утренней свежестью и напоминающих ему полет быстрокрылой птицы.

Днем и ночью он видел перед собой её глаза цвета черного топаза, взмахи длинных росис-

тых ресниц. Они смотрели на него то с лукавым сиянием и озорством, то с усмешкой и тихой грустью. Доставали повсюду. Доверчивые, призывные и влюбленные, застилали собой полнеба.

Они навсегда заслоняли от него прежний мир, мир бездумных, необязательных, пошловатых увлечений безотказными девицами. Красоту многих из них тоже можно было бы сравнивать с красотой небожительниц — богинь и жриц! Но только не поведение... «В жены мне ни одна не годится». Так решил он для себя сразу, не доводя знакомства с ними до привязанности и, тем более, до влюбленности. Отношения с эскорт-девочками, кроме гадливого опустошения, ничего доброго в его душе не оставили.

После знакомства с Катей, Павел серьезно задумался о себе: вчерашнем и сегодняшнем. Ужаснулся! Хотя к этому времени в среде сверстников слыл успешным парнем. Благодаря своей настойчивости и целеустремленности, ежедневным тренировкам с полной отдачей сил на ринге, ему действительно удалось чего-то достичь в спортивной карьере. За это и отличную учебу его уважали и тренеры, и преподаватели.

Друзья ценили за степенный, твердый характер, открытость и преданность в дружбе.

Но только теперь он ясно увидел, как бы со стороны, свою всё же безответственную, без всяких тормозов жизнь. Как хаотичные мета-

ния неопытного пловца в бешеной стремнине реки или полет птенца в порывах встречного ветра со взлетами и падениями.

Он и не заметил, как в душу проникли и грязно наследили, словно на выбеленном холсте, зловещие пятна его сопричастности с постыдными проказами смутных девятых годов.

Ему еще предстояло от них отмыться! Но и после своего очищения останется в нем на всю оставшуюся жизнь чувство вины и стыда за них перед Катей и бабулей...

...Находясь в городе, Павел мысленно переносился на тенистую лесную тропинку неподалеку от бабулиного дома, где с Катей собирали старые разбухшие от сырости шишки, которые были полны не потерявших еще сладость и маслянистость орешек.

Здесь они бегали по ласковому, оранжевому морю жарков между звенящих янтарной смолой кедров. Эти сибирские розы кланялись им в ноги, обжигали ладони. Пылающие жаром ниспосланных кострищ, благоухающие таежными ароматами, они надолго приковывали взгляд, притягивая его к себе нежностью и красотой.

Казалось, и жарки переживали ту же пору первой весенней влюбленности, заигрывали, безотчетно внимая нежным прикосновениям и повелениям шаловливого горного ветерка.

Тогда уже Павел понял, что кем-то свыше награжден — или наказан? — великим испы-

танием души — любовью. И с той поры находился в особом, незнакомом и неведомом ему ранее состоянии сладостного мучения. Мысли о новой встрече с любимой светло опаляли душу, томили и терзали.

... Он опять едва вырвался домой на выходные. Был субботний день. Проснулся раньше обычного, с петухами. Помог бабуле по хозяйству, весело пообщался с ней и ушел лесом в сторону Енисея.

Легкий туман плотно висел над согревающейся землей и молочным облаком медленно сползал по кособокому в распадок, растворяясь и исчезая в его вековых завалах, освобождая пространство над поющей многоголосой тайгой звонкому розовощекому утру.

Павел знал, что Катя еще несколько часов проведет в школе, в стенах своего 10 «Б», и неторопливо брел к месту свидания.

Облитый с ног до головы солнцем, он долго продирался через бурелом к вековым пихтам на скалистом выступе, нависающем полумесяцем над шумной, торопливой рекой.

Разгоряченный ходьбой, примостился на столешницу плоского кремневого валуна, замороженно и неотрывно смотря на бездонное синее небо и близко подступающие к противоположному берегу седовласые, задумчивые и остроконечные, как заточенные карандаши, Саяны. Эту дивную, первозданную красоту можно только созерцать! И никогда невозможно описать её самыми емкими, образны-

ми, радужными словами, как невозможно достоверно отобразить и на холсте самой талантливой, говорящей кистью художника.

Так всегда думал и сожалел Павел, когда приходил сюда. Он понимал, что оценить дорогой его сердцу уголок, можно только непосредственно общаясь с ним. Созерцая! И то скорее душой, чем глазами.

Сверкающие сапфирами снежные шапки горных вершин уже тронулись в свой последний бредущий полет с неприступных утесов в гулкие, черные, как дыры, ущелья. Но чуть выше, почти у неба, заледеневший в майских лучах многослойный, как торт, наст еще прочно нависал причудливыми сосульчатыми козырьками над безднами темнеющих расщелин.

... Катя застала Павла в момент сладостных раздумий, на сокровенных мыслях, унесших его во времени и пространстве далеко вперед от тех отношений, которые были у них с Катей до сего дня. Увидев её, он легко оторвал от камня натренированное пружинистое тело.

— Ну, здравствуй, красавица! Что долго не приходила? Думал, не дождусь! Брошусь с горя в реку!

— Глупости-то говорить не надо! «Брошусь!». Да я тебя со дна любого океана живым достану. И ни одной акуле — ни городской, ни деревенской — тебя, Паша, не отдам. Пусть и не надеются.

— Так вот ты какая собственница-ревнивица! Хотя...нет.

Он взял её за руки и начал быстро кружить вокруг себя. Две длинных огненно-рыжих косы метнулись ему на плечи, защекотали шею.

— Какая ты хорошенькая, пышненькая! И не вздумай худеть! Городские девицы всякую гадость глотают ради худобы. А я вот худых не люблю, слышишь, Катюша?

— Мне что голодать-то! Да и неволю! Я ведь во какая здоровая!

Довольный Павел расплылся в улыбке:

— Молодчина! Это, Катюша, по-нашенски! У Красиных жены были одна другой краше да румяней. А теперь, скажи-ка честно, где задержалась на целых....

Он, гримасничая и прищуривая глаза, посмотрел на часы.

— Прости, Пашенька. Я ведь эту неделю буду дежурной в классе. Сам знаешь, и полы надо помыть, и проветрить.

— Печальные новости! За какие такие грехи я должен мучиться, ожидая тебя! — игриво канючил он, осторожно теребя её роскошные косы.

— Сегодня без тебя успел прожить половину нашей совместной жизни.

— Это ты о чем? — удивленно спросила Катя, стрельнув бровями. Павел в ответ крепко прижал её к себе и задохнулся затяжным поцелуем.

— Катя ...

Она резко отстранилась от него и по-детски обиженно погрозила пальцем.

— А про женитьбу ты мне ничего не говорил!

Павел, как нашкодивший и кающийся пацан, залился румянцем.

— Прости, пожалуйста. Я всегда тороплюсь жить.

Наступила неловкая пауза. её вовремя прервал Катюшин артистичный выход на «подиум» — валун.

— Паша, погляди, какое мне мамуля платье сшила. Правда, красивое?

— Правда-правда.

— А что тебе в нем нравится?

Катя, чтобы сконцентрировать внимание Павла, подняла ладонями к затылку вязаный «паутинкой» белоснежный накрахмаленный воротничок:

— Сама вязала. Узор взяла из старого журнала «Работница».

— За рукоделие, хотя я мало, что в нем смыслу, тебе пятерка с двумя восклицательными знаками. Молодчинка!

— Для тебя старалась...

— Кать! А хочешь, скажу откровенно?

— ??!

— Мне больше понравилось платье в тех местах, где ему тесно...

Павел подхватил её, как пушинку, и поднял над собой, кружась у самого обрыва.

— Паша! Что ты делаешь?! Мы же свалимся в реку! Платье жалко! — взмолилась она, не на шутку испугавшись.

Павел осторожно опустил её на валун и прижался к упругому, душистому телу. И ... задохнулся неудержимой страстью.

— Паша! Ну, что ты!!! Я не готова к таким отношениям! Давай лучше спустимся к Енисею. Охладишься хоть, а то горишь весь...

Он, спохватившись, с трудом взял себя в руки. И, залившись румянцем, поспешно отстранился от Кати. Она легко выпорхнула из его дрожащих рук.

Наперегонки, азартно и весело они стали спускаться к каменистой косе, оставляя за собой едва заметный сизо-розовый шлейф прибрежной пыли.

Чуткое эхо несло по горам и тайге их спотыкающиеся уханья и аханья да гулкий перезвон падающих вслед мелких камушков. Взявшись за руки, они шли по берегу, а позади все еще качалось в дуновениях легкого, свежего речного ветерка шумное эхо.

— Всегда был слабоват в ботанике. Стыдно, конечно, но не знаю, какая трава вдоль растёт у вод Енисея.

— А я знаю! Мне мама рассказывала. Вот послушай. Поодаль от нас — синенькие медуницы, а рядом лиловыми метелками, как факелами, размахивает горец. Смотри, вот у наших ног порезная травка. Видишь ту, что усыпана мелкими беловатыми цветочками?

Порезку гуси очень любят. Рву её охапками, измельчаю, чтобы языки не порезали. Лупенят — только треск стоит и громко гогочут от удовольствия!

— Постой-ка, Катюша! Иван-чай и сам от всего отличу да еще полынь и желтую пахучую кашку. Научного названия её не знаю.

— Эх, ты! А еще абориген. В тайге родился, а за неё не зацепился.

— Нетушки! Здесь ты, зайчатка моя, не права. В лесу я, как лесовик — боровик! Про все-то ведаю. Как-нибудь по осени свожу тебя к своим «огородам». Там и поглядим, как отличница Катя Земцова про хвойники, птиц да зверушек лесных сказывать станет.

Они стояли по щиколотку в холодной воде, держа в руках кеды.

— Смотри! Как богатырь наш волнуется! Белыми барашками играет. За ночь полкосы затопил. Вчера мы с тобой сидели на большом, похожем на лежащего быка камне, а сегодня он уж волнами скрыт.

— Наверное, ГЭС опять воду сбрасывает. Смотрел как-то в Дивногорске на это красочное зрелище природы, когда со стометровой высоты да при ярком июльском солнышке падает вода. Покруче Ниагара будет. Любота одна! Не наглядеться! Какой-то бешеный каскад алмазной пыли и брызг. Радужные всполохи отражаются на теле плотины, как наше северное сияние на небе, и исчезают в кипящем водном чудо-котле.

— Я не была у ГЭС. И вообще нигде не была...

Катя задумалась, загрустила.

— Сколько помню, отец всегда пил. В райцентре менял место работы по нескольку раз в году. Отовсюду увольняли за пьянку. Мама измучилась с ним. Пробовала лечить. Бесполезно. Он себя алкоголиком не считал и не считает, хотя без спиртного и дня не живет. Мы едва сводили концы с концами, чтобы хоть как-то прокормиться. Последние годы и вовсе обнищали. Сюда переехали в надежде, что отец изменится. Да только все напрасно. Он и тут уже отличился... А братишка Федька у нас молодец. Умница. Хоть мал, а нам с мамой помощник и защитник.

Она замолчала, и слезы теплыми быстрыми каплями застучали прямо на Пашины руки.

— Катя! Прошу тебя, не плачь. Скоро все изменится. Ты у меня никогда плакать не будешь. Я обещаю тебе.

Он высушил ладонями ручейки слез, и Катя повеселела:

— Сейчас я тоже подрабатываю. В прошлом году на летних каникулах с ребятами лесоповалы от сучьев и веток чистили. Мелочь на опушку выносили и в кучи складывали. Новый директор Селин хорошо заплатил нам за эту работу. А зимой я полы в леспромхозе мою, почту селянам разношу. Теперь нам с мамой стало легче. Денег и на еду хватает, и на необходимые покупки. По-

мнишь, наверное, сколько одному школьнику всего надо. А нас у мамы двое.

— Ты, как пчелка, вся в делах. Почему только тебя раньше не заметил? Когда приезжал домой, всегда заходил в школу. Встречался с одноклассниками. Но клуб обходил. Не люблю танцевать. Да и, как следует-то, не умею. Так, кривляния одни. А ты помнишь ту первую встречу на дискотеке прошлой осенью? Вот уж поистине нас Бог свел в одно место. Никогда здесь не бывал, а тут сами ноги принесли, чтобы с тобой судьбой не разминулся. Но ты тогда, как золушка, к концу танцев исчезла. Повсюду искал тебя, на пристань ходил, но, увы...

— А я должна была прибираться в конторе.

— Вот не знал! Обязательно помог бы.

— Да что ты! Тогда и вовсе бы со стыда сгорела. Мы даже не были знакомы, хотя о тебе уже всё знала от девчонок. Любовалась тобой со стороны. Мне казалось, не пара мы. Ты красивый, знаменитый, а я что? Мне еще в институт поступить надо. Школу с медалью постараюсь окончить, а Селин направление обещал дать на заочное отделение. Буду, как твоя мама, экономистом.

— А ты откуда о ней знаешь?

— В Германию только она уехала. Говорят, что была очень красивая.

— Почему была? Она и есть очень красивая... Бабуля говорит, вся в деда Мишу. А я до мозга костей — красинский. На них ничем не похож.

Они помолчали. Павел ласково поцеловал её.

— Катя! Окончишь школу, сразу поженимся. Согласна?! Я не могу жить без тебя, мое солнышко оранжевое, моя зайчатка!

— Эх, ты, Паша — Пашуня! Цены себе не знаешь. Что я! По тебе полсела девчат сохнет. Да каких! И не ровня мне, бедной да рыжей. Опомнись и бросишь меня...

— Не смей говорить так, глупенькая! Запомни: мужики красинского рода — не бабники! Однолюбы! Вот и меня огнем твоим так шибануло, что до конца своих дней, наверное, не приду в себя.

— Паша, а как с учёбой? Мне выучиться обязательно надо. Маме помочь Федьку в люди вывести. Он уже сейчас меня башковитей. Хочет летчиком стать. Дома все стены самолетами увешаны. Сам мастерит. Специальных книг много читает.

— И Федору поможем выучиться, и с твоей учебой решим. Будешь дома детей растить и заочно учиться, а я — работать в леспромхозе и в школе, вам с бабулей помогать. Я все умею. За это бабуле моей спасибо, с детства хозяйничать приучила. Она будет радехонька счастью нашему. Заждалась уж правнуков.

— Ладно, Паш. Спасибо тебе. Я согласна...

11.

Павел сидел в читалке, готовился к досрочной сдаче очередного экзамена. «Надо поскорее убираться из города к бабуле.

Сдам госы, а дипломную можно и в Спасском писать». Мысль о доме резанула по сердцу. Он стал мысленно прокручивать последние «беседы» с Ипполитом Лаврентьевичем Кабановым. Он же «папа», он же Кабан.

— Сейчас увезу вас с Валеркой в загородный бордель. Там есть спортивный зал. Разогреетесь. Ко мне приехали солидные люди. Надо в грязь лицом не ударить, от души повеселить. Покажете им профи-бой, настоящий, с мордобитием и кровушкой. За все вам щедро заплачу, не водицы нахлебаетесь, — как верными псами, распорядился он Павлом и Валерием.

— Мы поехать не сможем, заняты. Завтра в городе открывается краевая универсиада. Начнутся зачетные бои, — воспротивился Павел.

— Не понял. Что ты протявкал? Я не четко изложил задачу?

— Не обижайтесь, Ипполит Лаврентьевич, но у нас действительно нет времени. — Павел продолжал отказываться от приглашения.

— Вижу, начинаете борзеть, края пропасти не видите, — взвинтившись, Кабан терял самообладание и дежурную наигранную интеллигентность.

— У нас дипломный год. Мы хотим по-серьёзному заняться учебой, повышением квалификации. Времени в обрез. Прошу отпустить с миром, — не поддавался «прессовке» Павел.

— Хорошо, — выдавил из себя «папа» и попытался вернуться в прежнее «отцовское» расположение. — Я подумал и соглашаюсь с тобой, друг мой Паша. Прости, что сорвался. Давай, вместе обмозгуем, как вам проще отойти от нас и рассчитаться. Нет-нет, не со мной. С братвой. За двухлетнюю кормёжку и прочее. Хотя нет, сегодня же — гости. Я сообщу тебе через охрану.

Не прошло и недели, как «папаня» любезно пригласил Павла и Валерия в свой бункер, якобы на прощальный ужин. Друзья не без оснований сомневались, идти ли вообще, предполагая, чем для них может закончиться визит. Но им известно было и другое. Просто затаиться, спрятаться — такое еще никому не удавалось.

За изобильным столом гудела приближенная к «папе» братва. Ипполит Лаврентьевич встретил победителей универсиады радушно. Усадил рядом с собой, произносил хвалебные тосты за новоиспеченных чемпионов. Подвыпившие братки отрывались на полную катушку, то и дело чокаясь фужерами с водкой. Друзья, как всегда, спиртного не пили, но наелись досыта.

Спустя полчаса Ипполит Лаврентьевич пригласил их в кабинет президента акционерного общества «Виват», под вывеской которого он и его «собратья» успешно «трудились».

— Смелое решение покинуть наше благородное общество одобряю. Разумно, разумно. Надеюсь, и вы не в обиде на меня?

Парни одновременно:

— Большое спасибо!

— Приятно иметь дело с благодарными людьми, — он помолчал. Казалось, вязкая, колючая пауза навечно зависла над ними холодной и зловещей мглой.

Павел не выдержал, прервал её.

— Вы хотели что-то нам сказать? — и закашлялся от волнения.

— Да. Хотел на прощание попросить о маленьком одолжении. Знаю, вы люди надежные, проверенные. Тут подворачивается одно небольшое дельце. В нем вашего участия всего-то поприсутствовать при сём. Так сказать, в массовке. Но рассчитаюсь щедро. Доучиться и на много лет вперед хватит. Конечно, если сделаете всё, как надо. Уважая вашу учёную занятость, я бы по мелочам и не потревожил. Ты, Павел, вырос в тех местах, где готовится наша операция. Назовем её условно «Зелень». Надо будет помочь хорошему человеку сориентироваться в тайге, найти заброшенную «берлогу» для временного укрытия.

— Объясните, если можно, поподробнее, — у Павла перехватило горло, и заходили желваки.

— Дело благородное. Вкратце, будем «экспроприировать» бабки у богатых и раздавать

их бедным. Задачу подробно растолкует уважаемый Геннадий Лукич Хорьков.

Парни онемели, впервые услышав из его уст устрашающее для братвы имя отморозка.

— Он возглавит операцию. Я лишь позволю себе высказать несколько маленьких предостережений и советов.

«Папа» расчувствовался, называл Павла и Валерия сынками, обещал великодушно помогать и вкладывать немалый капитал в их спортивную карьеру.

— Вот и знак моего полного доверия к вам — кейс. С кодовым замком, шифром, тремя «стволами» и «маслятами». Передаю его не Хорькову, а тебе, Павел. — Он натянул белоснежные перчатки, открыл кейс. Затем неспешно вынул пистолеты, полные магазины, досыпал в боковой «карман» десяток-другой запасных патронов.

— Хорьков немного психоватый. Поэтому, Паша, кейс с оружием до начала операции держи при себе. А то натворит ещё чего-нибудь...

На прощание он крепко пожал парням руки, растроганно смахнул с лица никак не выведенные им слезы. Парни поняли: им пришел конец. Уходили от «папы» на ватных ногах, ожидая выстрелы в спину.

— Полный расчет привезут в общежитие, — бодро крикнул он им вдогонку.

В тот вечер из деревни к Парфенову приехала мать, и они ушли ночевать к родствен-

никам. Торопились. Павел успел сказать другу, что за ночь обдумает и завтра у бабули сообщит конкретный план их действий.

Вскоре появился Генка. Важный, нахотенный, куда-то спешащий. Говорили недолго. И без его разъяснений Павлу была ясна цель «папиной» операции.

До рассвета Павел не сомкнул глаз. Впервые за свои двадцать лет. Поначалу рассуждал так: «Папочка» решил хорошенько испачкать нас дёгтем, повязать «мокрухой», чтобы попржижали хвосты. Думает: от страха попасть за решетку мы останемся в их волчьей стае. Так он поступал со многими «братками».

Павла развитие событий по задумке Кабана не устраивало: «Три поколения лесничих Красиных и бабуля с ними отслужили верой и правдой тайге. За труд от зари до зари, открытость души, честность они в почете. А леспромхоз для Красиных — и кормилец, и защитник, и свет в окне.

Прадеды, деды полегли в боях героями, защищая страну от фашистов. А меня какой-то Кабан, бандюга местного разлива, хочет превратить в убийцу, чтоб во век не отмылся. Да бабуля живьём в землю ляжет после такого позора!

Нет! Дудки вам, Ипполит Лаврентьевич, и банде вашей — дудки! Извилины не нарастили, а прёте судьбы людские вершить. Не бывать по-вашему, господа ворье!».

Усилием воли он заставил себя успокоиться: «Нет времени на эмоции. Давай, думай дальше, тяни логику, тяни. Доверия к Кабану никакого и его сладким пряникам тоже. Надеется, «желторотики» всё примут на веру. Его «отцовское» слово беспрекословно выполнят. А за это в конце «массовки» вознаградить их по высшему классу — пулями девятого калибра. Недооценил Кабан нас, недооценил. Были бы полными идиотами, если бы действительно поверили, что многоопытный «авторитет» поручит руководство операцией «Зелень» безмозглому Генке. Для таких наездов, требующих ума и интеллекта, есть у «папы», к сожалению, заблудшие умы. Не чета недоделанному роботу-«санитару». Нет, Хорьков — смерть наша. А на захват валюты пошлет «папа» не одну — три бригады, вооруженные до зубов, с новейшими средствами наблюдения. Скорее всего, завтра ранним утром они уже будут сидеть в засаде и поджидать жертву их кровавого пиршества.

Разумеется, в лесу братва нам с Валерой без ОМОНа и пикнуть не даст. Глупо было бы одним вообще как-то сопротивляться. Думаю, в плане «папы»: оставить нас в живых, пока не сопроводим бригаду с «зеленью» к зимовью. Там-то они и вынесут свой вердикт! Живыми нас из леса не выпустят».

Павел твердо решил, что вместо разбоя «Зелень» пройдет успешная операция «Дудки!». Он разыщет селе опера и Ветрова. По-

толкует с ними. Вместе с директором Селиным и ОМОНОм устроят все, как надо. А они с Валерой займутся Генкой. Сразу за селом наручники оденут. Будет орать — кляп в рот. Ничего! Потерпит, душегуб, до сдачи его милиции.

Не пробило и десяти часов воскресного утра, как Генка подрулил к общежитию на новеньком «Лэнд Крузере». Но Павел уже не сомневался в успешном завтрашнем дне.

12.

Управившись с обедом, Ефросинья вышла на крыльцо, присела на скамейку. Любила пору глубокой осени — яркую, непредсказуемую, щедрую. Сорвала наклоненную свежим ветерком гроздь калины. «Матушка ты моя, красавица! Полакомиться приглашаешь. Живым соком сердчишко полечить хочешь, — и съела несколько сочных ягодок. — Пока горьковаты. Приударит морозец, выжмет всю несъедобность, тогда и приберу бесценную».

К воротам подъехала легковая машина. Ефросинья таких еще не видала: высокая, черная, блестящая, с синими и желтыми фарами, темными стеклами. Вышли Павлуша, Валера и чужой парень. Внук подбежал к бабле. Расцеловались.

— Ба, я не один. Друга Валеру хорошо знаешь, а второй... Объясню потом.

И помчался открывать ворота. Ефросинья зашла в дом, поглядела на себя в зеркало, за-

торопилась. «Чего раньше не накрыла стол-то? Мужики и есть мужики, вечно голодные». И, не скупясь, отовсюду: из печи, подвала, шкафчиков стала выставлять на стол ароматные яства.

Гости ввалились шумно.

— Это вам, Ефросинья Ивановна, — Валера, целуя в щёчку, протянул ей сверток, перетянутый алой ленточкой.

Новый гость не представился. По своему простодушию, Ефросинья сама проявила инициативу к знакомству:

— А ты, мил человек, кто будешь, из каких мест?

— Привет, бабуся! Генкой меня зовут-кличут. В остальном, ты ж, извини, не прокурор, допросы вести.

Ефросинья смутилась и быстренько спряталась за кухонную занавеску.

Павел мигом уловил щекотливую ситуацию, строго глянул на Генку и подчеркнуто ласково пригласил бабулю к столу.

Гости начали аппетитно есть и высвобождать тарелки одну за другой. Насытившись, друзья помогли убрать со стола, перемыли посуду. Генка молча, с непроницаемым лицом наблюдал за ними.

— Давайте, наконец, займемся нашими баранами.— И со злобным нетерпением он вывел парней на улицу.

Ефросинья принялась чистить картошку на пирожки к ужину. «Валерка Парфенов

приезжает часто. Спокойный, вежливый, приветливый парнишка, но молчун, лишнего слова не скажет. Вырос, как и Паша, без отца. До института жил с матерью в Эвенкии. Учился в школе-интернате. Теперь вместе с внуком в студенческом общежитии проживают.

На долю им достались нелегкие девяностые годы. Во всем полный крах. Стипендия мизерная. На разъезды в автобусах не хватает. А подработать негде. Да у кого в это время работа есть: предприятия везде стоят. Старых хозяев выгнали, новые господа носа не кажут, пальцем не шевелят. Люди без зарплаты годами мыкаются. Деток нечем кормить, впроголодь перебиваются. О чем только правители думают, чем жив еще бедный народ наш? — и, горестно кашлянув, продолжила раздумья. — Генка-то другого роду-племени. Волчит-ся, ерничает. Чей, из каких мест, при знакомстве ни словом не обмолвился. По всему видать, ненашенский. Руки не подал. Брезгует, что ли?».

Нет, не показался новый гость, не показался.

«Чего Паша-то с ним вошкается? Вроде, даже побаивается. Кого ему бояться-то! Чай, не хозяин лилипут над ним. Не для того растили, учили, чтоб в холуях прислужничал. А Генка — неуч, к гадалке не ходи. Тать, темный. Повадки не людские. Говорит глупости, сам же над ними потешается. Глазенки лжи-

вые, бегают. — Ефросинья поймала себя на неведомой ей ранее безудержной неприязни к незнакомому человеку. — Что это со мной? Так плохо еще ни о ком не думалось. Даже о залетном «зятке» Богдане Бесове. Тот-то вылитый кобелина, но омерзения к нему, как к Генке, не было. Паша не должен приводить в дом, кого попало. Не должен.»

На стенке у Ефросиньи — большая фотография: Павел с Валеркой в чемпионских лентах.

Она пристально посмотрела на парней: «Эти двое — не чета Генке. Наш от обоих отличается: видный, лицом пригож. Чем старше, тем смоляней. В родного тятеньку, варнака блудного. Прижил мальчонку на стороне, и в сердце об нём зарубинки не оставил. Бывало, красинские мужики над детками тряслись не менее маток. А ну, как нам с Настей Господь сил не дал бы поднять Пашу на ноги, в люди вывести? Чтоб он, сиротинка, смог?».

Ефросинья заспешила на подворье. Ребят не видно. Пошла вдоль забора к сеновалу — набрать сенной трухи для отвара. «Видать, погода сменится: пальцы на руках скрючило, суставы опухли, мотор с орбиты сходит» — нашла причину своему неважному самочувствию Ефросинья.

Услышав издали разговор парней на сеновале, подошла ближе, затаилась.

— Можно ли довериться селянину твоему? Непроверенный же! Вдруг он падло? А может, жучок? На ментов пашет. Ой, парашу чую.

Заведет твой Сусанин в топь непролазную на верную погибель, — выговаривал Павлу Генка.

— Да, ладно, ты каркать, — незлобиво огрызнулся внук, — обойдется! Не в одном деле с Боровиком участвовали — все было по уму. Усомнимся, так и наехать недолго. За базар я отвечаю.

Откуда было знать Ефросинье, что Павел обманул Генку, назвав водителя леспромхозовского уазика бандитом по кличке Боровик? Еще внук слукавил, сказав Хорькову, что Боровик с директором и женщинами из бухгалтерии уже в городе: заранее уехали, чтобы завтра первыми успеть к открытию банка. А Боровик, мол, вообще свой в доску братан. Поможет спрятать трупы, покажет дорогу к дальнему зимовью, где они смогут затаиться на несколько дней. Потом по приказу Генки сообщит обо всем Кабану. Вчера при этих словах Хорьков расплылся в улыбке, а сегодня — опять злой, нервный, недоверчивый. Изо всех сил пытается влезть в шкуру шефа.

— Кабан сказал, что «зелени» в мешках будет немерено. Говорил, от шведов пришли «бабки» за дощаники с ангарской сосной, а теперь лесники везут их, чтобы подешевле, налом, рассчитаться с иностранными поставщиками. — Глаза бывалого вора загорелись алчным огнем.

— Под «зелень» тарой бы заpastись, чтобы не сразу «товар» в глаза бросался. Лучше аптечными, конфетными коробками или другой отвлекухой.

— Что ни скажешь, босс, все не к нашему огороду. — Павел нарочито перешел на блатной лексикон. — В сельской аптеке, кроме аспирина и валидола, только крысы водятся. Не густо и в магазине. У людей на пожрать бабок нету. Не до конфет и лекарства. Но мысль твоя верная. На бабулином зимовье я кое-что припас. По пути заскочим, заберем. «Зелень» переложим в пакеты, пересыпим орехами да шишками. Так-то надежней. Груз таежный на лесной дороге у ментов подозрения не вызовет.

Ефросинья от услышанного ею разговора обмерла вся, стояла никакая: ни живая, ни мертвая. Наслышавшись и насмотревшись бандитских историй по телевизору, мгновенно поняла, о ком и о чем идет речь. Не веря ушам, вытерла взмокшее лицо дрожащими руками, тихонько отошла от сеновала. И тут же до неё донесся знакомый с детства визгливый скрип старой лестницы. «Спускаются!».

Она успела скрыться, юркнув в открытую дверь сарая. Парни неторопливо прошагали мимо, продолжая о чем-то спорить. Валера и Генка зашли в дом, а Павел направился к воротам.

Прямо над головой, едва не врезавшись в его шевелюру, пролетела неизвестная птичка.

«Совсем от тайги отвык, птиц не узнаю. В школе на уроках краеведения получал одни пятерки, — огорчился он. — Надо срочно идти в село. Там как-то избавиться от Генки и пулей лететь к Дмитрию Петровичу. Но одному нельзя. Это вызовет подозрение. Нюх бандита натренирован».

Сзади по-кошачьи бесшумно подошел Генка.

— Давай, хоть в село смотаемся, от твоих лавок уже сиделка болит,— очень кстати предложил он.

Ефросинья поднялась на крыльцо, посмотрела на Павла, заметив, как зоревый багрянец освежил его лицо. Оно показалось ей совсем юным и озабоченным. «Мамки рядом нет, полюбоваться сыночком». И вдруг вспомнила о нависшей над ней грозовой туче. Схватилась за сердце, то щемящее, то замирающее. Зашла в дом. Присев у окна на лавке, достала из потайного кармана передника таблетку. «Боже праведный! Неужто Паша оборотнем стал, перевертышем? Нет-нет. Не может этого быть». Надежда слабым огоньком затухающей свечи еще теплилась в ней. «Не той закваски душа твоя, Пашенька, не той, не бандитской. А коль оступился по дурости, с чужой ли, дьявольской ли помощью — лягу поперек скользкой стежки, вырву из любой трясины, но не дам свершиться делу грязному, кровавому. Вечному позору нашему. Так-то, сокол мой ясный».

Валера, сидел за столом, допивая кринку брусничного киселя. Увидев побелевшее лицо Ефросиньи Ивановны, подскочил к ней.

— Вам плохо? Может, врача?

— До него, милоч, пятьдесят верст. Телефоны только в сельсовете да леспромхозе. По выходным не сыщешь там никого: хозяйство, заготовки. Осень, сам знаешь, год кормит.

Валера взял в ладони холодные руки Ефросиньи Ивановны и начал согревать их своим дыханием.

— Вы расстроились? Может, из-за дебила Генки?

— Нет, Валера, дочку Настеньку, мамку Пашину, вспомнила. Уехала за тридевять земель. Свидимся ли? Сынулю, первенца, оставила. Без неё богатырем вымахал. А Генку, ирода, не привозите больше сюда. Не ко двору он, не ко двору.

Валерий давно уже не мог открыто смотреть в глаза этой женщине. Знал о её прошлых бедах и бесконечной доброте. С ужасом представил, когда та узнает правду о них с Пашкой. «Почему он молчит, под Генкой ходит? Неужели задумал принять их сторону?». Парфенов нервничал. Лицо его покрылось пунцовыми пятнами.

— Чего сам-то скраснел? Из-за меня? Так не переживай, не впервой, обойдется. Хуже, если дома одна: людей не дозовешься, до звезд не докричишься. — Она смахнула с морщинистых щёк слезы.

— Не плачьте, пожалуйста, — Валерий не переносил женских слез и беспомощно пытался успокоить её.

— Ты иди, иди к ним, Валера. Мне лучше. Прогуляйтесь. Женихи-то, любо-дорого поглядеть. А девок здесь, как на кедре шишек, — Ефросинья Ивановна улыбнулась, лицо засветилось, ожило.

Ефросинья обдумывала, как вести себя дальше. «Только бы не догадались о моем решении. Только бы не догадались. И внук тоже. Поторопится она — навредит делу».

Вдруг почувствовала, как душа её затрепетала, переполнилась предчувствием неминуемой беды. Зримо представила в бешеной пляске хоробы черных, злых теней. Они кружились сонмищем и тянули костлявые уродливые руки к груди человека в белой одежде, пытаясь что-то вырвать у него из груди. «Похоже, это я и есть. Скорее на улицу! Душно мне», — и поспешно вышла на подворье.

Свежим ветерком к ней шатнуло кедр. Он словно сам шагнул навстречу Ефросинье. Его широкие мягкие лапы заботливо и нежно прикасались к её лицу, гладили волосы, аккуратно собранные на затылке в тугой, на полголовы, узел. А она грела на ладонях дорогие ей пушистые изумрудные хвоинки.

— Балуешь вниманием, игрун, — ласково заговорила с кедром Ефросинья. — Образумил бы, отчего по жизни мне покоя да добра нету? Советом одарил бы, — и, как бывало в

молодости, потрепала мохнатые, прохладные ветви. — Не скупись. Ведь о моем житье — бытье до последней минутки ведаешь, только помалкиваешь. Да не в обиде я. У каждого из нас свои окна и в земной мир, и в небесный. Оттого и говорим на разных языках. А отраднее было бы под защитой твоей! Многому научил бы, предостерег. Чую, единый дух в нас. Седьмой десяток доживаю рядом с тобой, провидец мой, а недосуг наболевшее друг другу излить. За суетой-то о куске хлеба грешную душу редко в чистых росах да водах царь-реки омывала, а чаще торопливо в ближний омут кидалась. Бесам на утеху. — Ефросинья надолго замолчала. Потом, очнувшись от раздумий, продолжила тихую беседу.

— Ты да Павлушка — и вся родня. Роднее вас да Насти под ясным небушком никого нету. Твое тепло, кедрушка, и зимой ощущаю. В смутные часы ты один со мной. Кланяюсь тебе за это.

Она согнула к кедру крепкий, не тронутый годами стан. И внутренне уверилась, убедилась в справедливости задуманного. Еще раз поклонилась кедру, пятясь, медленно отошла от него.

Из-под стрехи дровяника вылетели две взъерошенных москочки, мелкие серо-бурые синички. В клювиках они держали по жирному короеду. Видимо, боясь их потерять, уселись неподалеку, у дедовой кузницы, на цинковую крышку старой бочки, где на всякий

случай всегда хранился сухой песок. И тут же, одна быстрее другой, принялись драть червячков острыми коготками и заглатывать кусок за куском, вытягивая кверху черные шейки. Не прошло и минуты, как «докторницы леса», так называла их Ефросинья, скрылись в ветвях черемухи, весело напевая свое неизменное «ци-ци-ци», переходящее в «туй-пи, туй-пи».

Она набрала охапку березовых дров. «Пусть потешатся в жаркой, баньке, — рассудила, — поди, нескоро еще доведется».

13.

День был на исходе. Лучи закатного солнца еще не наигрались с тайгой и цеплялись за косматые макушки.

Павел с Генкой шли молча в сторону села по жухлой, опавшей траве вдоль лесной дороги. Их фигуры, обтянутые синими спортивными костюмами, черными кожаными куртками и освещаемые солнцем, заметно выделялись на фоне пылающего пожарищами леса.

— А ты на зоне кем был? Алешей, акусом, антилопой? — Павел подобрался, ожидая от психа взрывной ответной реакции.

— Что за слова мудреные лепишь?

А тот вопросом на вопрос:

— Полжизни по тюрягам отсиживался, а по фене не ботаешь?

— Зачем она мне? С фени сыт не будешь. Мне и не запомнить столько слов. Я с детства

головой страдаю. У меня на морде лица написано, что мозги больные с умом не ладят. И к чему напрягаться? В моем деле глаз-алмаз нужен. Тут — полный ништяк. Мушку четко держу. А в остальном, покажут, кому кранты перекрыть.

— Я сразу понял, ты — птица дальнего полета. — Павел нарочито кинул тому большого «леца». — Поэтому «папа» и послал тебя верховодить. Отлочишь нам по куску пирога, век твоими рабами будем. Не на «папу», на тебя надеемся, — Павел продолжал игру с маниакальным самолюбием Генки.

— Раньше, значит, «папа» для вас хороший был, кормил досыта, бабок подкидывал. А вы, мелкота деревенская, гниды пузырчатые, и забугрились. Волки неблагодарные, племя иудино, гнилушки вот, кто вы.

— Ты тоже пойми: кто мы без дипломов? И так два года у «папы» на цырлах протоптались. Придется упущенное на ура брать! Иначе — кранты.

— Могли бы ксивы кулаками заработать. Без напряга. Попросили бы Кабана, повеселили бы гостей его. Он, что душе угодно, на блюдечке бы принес, не то, что корочки ваши долбаные, — учил уму-разуму Генка. — Мне бы ваш талант, жил бы в Сочах, с телками на пляжах кувыркался. Не «санитарил» бы при кабанах вонючих.

Забывшись, Генка обнажил истинное отношение к «папе». Он люто ненавидел Кабано-

ва, его свинячье, заплывшее салом лицо, но нужны были приличные деньги для независимой, красивой жизни. Потому-то и приходилось раз за разом подряжаться на «санитарную мокруху». «Чего я сбрыкал, поганец! А, пусть, — успокоил себя Генка, — завтра студентикам амба».

Павел же мысленно отметил: волки одной стаи, а в любое время готовы друг другу горло перегрызть. Но сделал вид, что не понял, о ком Хорьков отозвался так злобно, продолжил напевать ему о своем.

— Трудно мне, босс. На тебя хочу работать, жить фраером, бабуле помогать, а не тянуть из её копеечной пенсии. Устала она.

— Ты мне куртку слюнями не марай, я тебе не поп, не той породы. Попробуй, только кинь завтра, говнюк. Специализацию мою знаешь. Полетите ясными соколиками прямехонько в дебри небесные. На суд божий. Там вам мало не покажется. Иуды и у бога в немилости. Так-то, студентик.

Павел глянул на его серое чугунное лицо. Оно светилось волчьим оскалом. Сзади их догонял запыхавшийся Валерий.

— Крылья взмокли за вами лететь. Чего несетесь, как на блины к теще?

— А ты где отстал? — спросил Павел.

— Ефросинье Ивановне с сердцем плохо было.

Павел хотел повернуть назад, но Валерий придержал друга.

— Ей уже лучше. Вы, мужики, поаккуратней с ней. Тебя, Генка, больше всех касается. А куда идем-то, скажите.

— Променажить вышли. Чо, махнем, братва, по тёлкам? — азартно предложил Генка.

— Здесь тёлочек нет, не бордель городской, а село. Тут девчата чистоту, невинность блюдут. Таких тумачков надают. Драться же с ними не будешь! — Валера говорил задиристо, уверенно, словно испытал девичий отпор на себе.

— Будут ломаться, и по морде схлопочут, — не унимался Хорьков. — Посулим бабок немерено, то да сё — и в кусты их.

— Не хамя и не трясися вонючими бабками, а то сам схлопочешь, — не на шутку взъерошился Павел. — Не посмотрю, что ты у меня в доме, вроде, за гостя. Врежу — челюсти в тряпочке носить будешь.

— Во, петухи! Чего взбеленились, на самом деле? Поостыньте, — примирительно вклинился между ними Валерий.

— Ладно, забыли. Идите-ка вы, жеребцы голодные, домой! — отрезал Павел. — Не время светиться вам сегодня в селе. Здесь чужих быстро запоминают. А я на секунду загляну к однокласснице Катюшке. У неё скоро свадьба. Потом догоню вас.

Парни согласились. Действительно, разумнее им посидеть дома, и неторопливо зашагали в обратную сторону.

Павел быстро скрылся за углом высокого забора. Он опять слукавил насчет свадьбы у Катюшки. Свою недотрогу он никому никогда не отдаст. Просто надо было остаться одному.

Сначала Павел намеревался пойти к Дмитрию Петровичу вместе с новым участковым. Но засомневался: не местный он, и что за человек? Не раз братва называла оборотней в милицейских погонах, которые помогали банде вершить беспредел.

С директором леспромхоза Селиным тоже не знаком. Женщин, кассира и бухгалтера, пугать не хотелось. Решил не рисковать, действовать наверняка, как наметил.

Калитка в просторное подворье Ветровых была открыта настежь. Они всей семьей возились с душистым, хорошо просушенным сеном, складывая его на зиму в огромную скирду. Увидев входящего Павла, хозяин передал вилы сыну и приветливо протянул руку. Он относился к молодому Красину уважительно. Наслышан об его чемпионских титулах. Вошли в дом. Павел подробно рассказал Дмитрию Петровичу о готовящемся разбойном нападении на них в молодом ельнике неподалеку от села, когда они завтра будут возвращаться из банка. Свидетелей, как водится, уничтожат.

— Откуда только узнают всё?! — возмутился Ветров. — Вот паскуды!

— У бандитов глаза и уши везде. А иные ради денег мать родную продадут. Чужие — и

вовсе мусор. Живут бандитскими законами, где всему голова — деньги. Идохнут, захлебываясь ими.

— До чего дожили, Боже мой! — сокрушался земляк.

— Мы с другом будем в лесу вашими помощниками. Но передайте директору, что омовцы должны снять засаду до вашего поворота в село. Рисковать нельзя. Там будет сидеть отчаянная, поднаторевшая на разбоях братва. Одним словом, бандюги.

— А ты-то, Паша, как обо всем узнал?

— Приеду через неделку к бабуле, тогда и поговорим. Извините, Дмитрий Петрович, я ухожу, дел — выше крыши.

— Спасибо, сынок, спасибо. В долгу не останемся. И не мотай головой. Знаем, как сегодня живут студенты. Лишняя копейка карман не оттянет. А я к Селину. Мужик он толковый. Быстро свяжется, с кем надо, и все решит. Обязательно решит.

Прощаясь, они по-родственному крепко обнялись.

Вскоре Павел догнал парней. Валерий попутно собирал душицу для чая, а Хорьков бездумно подбрасывал впереди себя кедом вырванный с корнем куст брусничника.

— Быстро тебя зазноба отшила — и пяти минут не прошло! Или жених пинка под зад дал? — Генке явно хотелось «укусить» Павла.

— Какая зазноба? Одноклассница! Говорил же тебе, родственница дальняя. Замок на две-

рях. Ушла к подружкам. Не сидится ей, — Павел сделал вид, будто, этот вопрос уже его не волнует, и весело предложил.

— Мужики! А не истопить ли нам баньку? Да не пройтись ли пихтовым веничком по нашим не окученным, заброшенным телам? А? Не слышу криков одобрения!

— Це дило!

Наперегонки припустили к дому.

14.

Вечерело. На голубых волнах сумерек в осеннем пылающем наряде раскачивалась, шумела тайга.

У парадных ворот стояла с заплаканными глазами Ефросинья. Почерневшая, осунувшаяся, испитая до дна свалившимся на неё горем, она отрешенно вглядывалась в угасающее небо.

— Что с тобой, ба? — встревоженно спросил Павел.

— На непогоду, видать, сердчишко разыгралось, скачет, словно леший по болоту. Давно козы мне такой не строило, — и тяжелой походкой направилась в стайку кормить птицу. Через минуту гогот и кудахтанье уже неслись на всю округу.

— Ба, давай я покормлю, — заглянул к ней внук.

— Нет, взялась, так управлюсь сама.

Каким-то чужим, металлическим показался ему бабулин голос.

Ефросинья вернулась в дом с ведром парного молока. Парни сидели за столом, что-то рисовали, молча передавая листки друг другу. Она прошла на кухню, процедила в кринки молоко. Развела к утру опару на оладьи, поставила на плиту чугуна с водой для мытья посуды. Взялась за переборку опят, молоденьких, ядреных. Всегда любовно называла их «шустрятами». Они бойко росли огромными причудливыми шапками на старых пнях у забора. «Нет, внучек, Бесов сын, не бывать позору, не бывать. Не допущу».

Плакала беззвучно. «Упаси Бог, чтобы о чем-то догадались!». И нарочито гремела посудой, колотила поленьями по полу. «Только бы сердчишко не подвело, выдержало».

— Паша! Если не занят шибко, сбегай в огород, сорви петрушки да лучку на салатик, — попросила она певучим голосом, давя в себе всхлипывания.

— Я мигом, ба! — Валерий с Генкой оторвались от изрисованных листков, включили телевизор.

— А кормить ужином нас будут? Пустой желудок меж ребер басами гудит, кусается, — хамовато обозначился Хорьков.

— И ужином накормлю, и в баньке напарю.

Павел уже справился с заданием и влетел в дом:

— Вот тебе, ба! — и передал ей охапки зелени. — Салата на полсела хватит.

— Ты чего раскричался? Домового вспугнёшь. Он, знаешь, шалых не любит. До смерти ночью защекочет.

Парни расхохотались.

— Иди-ка на подворье, поостынь. Подбрось травы Буренке. Да баню-то затопи. Пока нагреется...

— Ба! А как ты догадалась насчет баньки? Не успел сказать тебе, — искренне удивился внук. — Мы по дороге домой решили грехи наши тяжкие смыть.

— Так легко от тяжких-то не избавиться. Если бы! Три шкуры с себя спустить еще можно, — выпрямилась от посуды Ефросинья. — Да не тело наше грязнится — душа-душенька. Сам знаешь, Паша, она лишь крестом и молитвой омывается, им подвластна. А мы-то в суете-маете редко к Богу обращаемся. Все недосуг...

Павел и без того охотно выполнял бабулины поручения, а тут и собственное желание — банька! — пулей вылетел на улицу. А она опять охнула. Накапала двойную дозу лекарства и, взявшись рукой за левое подреберье, присела у края стола.

— Ты, бабуля, хоть при мне не окочурься. Брезгую до тошноты мертвыми старухами, — сморозил Хорьков и вслед за Павлом хлопнул дверь.

Валерий побежал на кухню, принес Ефросинье тёплого молока.

— Не слушайте вы его, отморозка, прилягте лучше. Мы с Пашей все сделаем, только скажите.

— Посиди, милоч, со мной, пока не оставлю одну. Скоро полегчает. И займетесь банькой.

Через пяток минут Ефросинья уже командовала:

— Слазь на чердак, сними три веника березовых и три пихтовых. Как вода в котле закипать станет, запарь сразу. Там ушат осиновый есть. Минут через десять вынь их и — под полк. Накрой чистой мешковиной, чтоб не высухали. Потом снова окунай в ушат, как париться-то зачнете. От пихты да березы веник наберется духу лесного, хоть на хлеб мажь. И польза для тела — больша-а-я! Хлещитесь вениками до устали. Да поболее отвару пейте. Водица изнутри освежит, промоет до самых косточек и опосля паром выйдет.

Павел поджег заготовленную бабулей бересту, и каменка загудела, распелась на все лады. её сказочные, фантастические симфонии не-пе-ре-да-ва-е-мы ни одним земным музыкальным инструментом! Ни стонущей и плачущей скрипкой, ни пронзительным свистом свирели, ни медной трубой, ни контрабасом ... Разве только отдаленно напоминали Павлу оркестровое многоголосье.

Ему вспомнилось, как в детстве, по первому ледку, падкая на «экстрим» сельская панва, привязав коньки сермяжными ремня-

ми к валенкам, опробовала крепость избранного ими катка.

На мелководье лед уже прочно зацепился за гальку и прибрежные кусты, заморозив, как в хрустальном шарике, и несколько мелких рыбешек. Здесь можно было кататься смело. Но пацанам хотелось попробовать лед и подальше от берега, поближе к стремнине. Для этого нужно было кому-то набраться смелости и решиться на разведку боем. Ребята постарше отделились стайкой и заняли выжидательную позицию. А отозвались на клич младшенькие: вместе с семилетним Павлушей еще двое первоклашек.

Тройка отважных быстро приближалась к середине реки. Пашины новенькие коньки легко скользили по льду. Он так увлекся скоростью, что не заметил впереди его зияющую в солнечном свете металлическим отблеском небольшую полынью. В результате — свалился в неё со всего маху.

Как и вся сельская детвора, выросшая у реки, Паша неплохо плавал. Внезапно попав в обжигающую холодом купель, нисколько не растерялся, не сробел. Эка невидаль-полынья! В крещенские дни спасский батюшка в иордани купывал немало ребятни. И дважды Пашу. Правда, дома об этом он помалкивал.

А сейчас раз за разом хватался за кромку льда, но тот распадался в его ладонях на мелкие стекляшки. Намокшая одежда топила, быстрое течение затягивало под лед. Но Паша

сопротивлялся, держался на воде, цепляясь руками за острый край полыньи. В какие-то мгновения ему удавалось подтянуться и почти выползти из пучины. Но тщетно: тонкая наледь прогибалась под ним, крошилась, и он вновь оказывался в ледовом месиве.

Увидев, что случилось с Пашей, и предчувствуя надвигающуюся беду, несколько ребят побежали в село, а остальные пронзительно кричали и звали на помощь. Пашины одноклассники замерли у полыньи.

Из сельской кузницы, стоящей на пологой каменистой косе неподалеку от берега, уже не бежал-летел дядя Прохор с доской и пожарным багром. Он-то и помог благополучно выбраться малолетнему смельчаку на твердый лед.

Дядя Прохор сильно испугался за мальчонку. Но, когда Паша мокрым зайчонком уже стоял рядом, отшлепал его и велел, сколько есть духу, бежать домой. Не останавливаясь, чтобы поскорее согреться. Паша сделал всё так, как он велел.

Ему, конечно же, хотелось скрыть свой позор от бабули и матери. Обледеневшую одежду он отнес на просушку в баню. А сам, переодевшись в сухое, взялся за букварь и чистописание. Бабуля хвалила, когда не откладывал учебу на вечер.

До её прихода с работы, он не только выполнял домашнее задание, но и наносил к

печке дров, смел с крыльца снег, даже помыл за собой посуду, чего и вовсе не любил делать.

Пашины старания бабуля заметила, похвалила и расцеловала любимца. Прижав его мокрую голову к губам, всполошилась:

— Да ты же горишь весь! Что с тобой? Никак заболел!?

— Да не, ба! Просто спать хочу.

— Спать?! Силком тебя в кровать не уложишь. Ты хоть раз сам просился? Такого не припомню. Нет... Что-то тут не то. Давай-ка, поставим, бесенок, градусник.

И уже через пять минут они с матерью суетились вокруг него вдвоем:

— Ты где так застудился? Или съел чего?

Паша отмалчивался. Сильно болело горло. Бабуля дала выпить шалфею с малиной и медом, помазала во рту противным барсучьим жиром, закутала в старую пуховую шаль. Спать уложила на русскую печку, еще сохранившую утреннее тепло.

Павел очнулся от воспоминаний.

«Завтра, даст Бог, уедем с Валерой к операм, пока по-настоящему в дерьмо не вляпались, — решил парень. — Исповедуемся без утайки: с чьего стола кормились два постыдных года. Заработать негде, «папа» и воспользовался, прикормил безденежных... А мы тоже хороши. Черное от белого отличили не сразу. Хотя должны были сообразить, в какую трясину врюхались... За что и ответим перед законом, если виноваты. Только ведь ни в од-

ном преступном деле участия не принимали. Платил Кабан за бои до крови перед «высокими» гостями, перед пирующей братвой. Да ещё за разные побегушки: передай, принеси, отвези. Грозился сполна загрузить «делами», когда институт окончим.»

Баня наполнялась любимым с детства запахом березового огня. Павел выключил свет, и на потемневших стенах резво заплясали причудливые блики. Они напоминали Павлу светомузыку в сельской дискотеке, где скоро будет отплясывать его Катюшка.

Вошел Валера. Осторожно опустил на лавку зеленую охапку веников— душистый кусочек тайги:

— На сей раз парилкой заведу я. Ефросинья Ивановна всему научила. Хочу проверить на собственном опыте её советы.

— Давай, вали. Давно бы делом занялся, а то прилип к Генкиным безмозглым анекдотам, сидишь возле него целый день, лыбишься, — Павел беспричинно и несправедливо взъерошился на друга.

— Ты из-за Катюши на мне зло срываешь? Тогда не обижаюсь. Утирайся хоть всей рубашкой, для друга и фрака не жалко, — добродушно, со смешком ответил Валера.

— Какая Катюша! Выдумал я. Надо серьезно поговорить о завтрашнем дне, — и Павел посвятил Валерия в свой план. Тот шумно обрадовался и стал радостно тискать его в своих объятиях.

— Верил в тебя, Пашка. Ты никогда не пойдёшь на преступление, никогда! И, слава Богу, не обманулся. Вдвоём прорвемся. С тобой, дружище, я до последней капли крови. Чтоб это знал.

— Постучи по дереву! Надеюсь, омовцы устроят сволочам этим полный каюк. По высшему классу. Они же профи! А Генку сами повяжем. Я и наручники, когда-то подаренные мне Кабанчиком, припрятал.

Павел посерьезнел:

— Помни одно: завтра утром кейс со «стволками» должен быть в твоих руках. До отъезда из дома они не понадобятся.

— А если Генка запросит причитающуюся ему «пушку»?

— Ладно, не бери в голову. При любой ситуации с кейсом у него ничего не получится. Код только мне известен. Без него кейс, хоть топором бей, не откроешь. Остальное, как договорились. Заготовь на сегодняшний вечер для Генки анекдотов покруче, разных приколов, лести. Ты ведь в этом дока. Главное, побольше веселья. Заметь, не наигранного веселья. Генка — хитрый жук, ничто не должно его насторожить.

— Понял, шеф!— шутливо отрапортовал Валера.

— А после баньки, за ужином, нальем братану пару стаканов бабулиного огненного змия. Он выпить не дурак, не откажется. Мы же обойдемся бутылочкой столового.

Павел подбросил в каменку сухих поленьев. Вода в котле уже выталкивала последние пузырьки воздуха.

Пора заниматься подготовкой веников. Валерий неторопливо взялся за дело и стал аккуратно мочить их в ушат, словно младенцев в купель, о чем-то негромко напевая.

Он обладал редкой красоты тенором, но никогда не пел при людях, стеснялся. А сегодня распелся с особенным удовольствием и душевностью. По лицу, голосу, легкости в движениях было видно, что после разговора с другом, он сбросил с себя непосильную, гнетущую его ношу.

Закончив таинство с вениками, Валерий пошел в дом готовиться к бане.

Павел домыл половицы на банном крыльце, выполоскал, отжал половую тряпку из мешковины и бросил её для просушки, как учила бабуля, на забор. Сзади к нему бесшумно подошел Хорьков. Павел даже вздрогнул от неожиданного прикосновения его холодной руки:

— Наконец-то, вижу, баня готова. Тело — сплошная короста, чешется. Давай, не резинь, кличь Валерку. А я — в парную!

Генка плотно закрыл за собой тяжелую дверь из лиственницы, обитую с наружи войлоком для оберега тепла.

Павел прислушался — тот гремел тапиками — и направился в летнюю кухню, где на лежанке за русской печкой прикрытый полой

овчинного тулупа был спрятан кейс. Не включая света, нащупал тайник: «На месте», — и быстро вышел на подворье.

Первые сумеречные звезды игриво подмигивали ему. Он подошел к кедру, прижался к сырому, прохладному стволу:

— Через неделю приеду. Надышусь чистотой да красотой твоей, посмотрю на Енисей-батюшку, на багряную роскошь тайги. Душу пыльную туманами омою. И пойдём с бабулей к Катьке свататься. Пора старушку добрыми заботами нагрузить, чтоб о хворях не думала, правнуками сердце порадовала. Получу диплом — в село вернусь. Буду в леспромхозе работать. Мои руки лишними здесь не окажутся. А вечерами займусь спортивными секциями. Вот и заживем доброй красинской семьей.»

Он неторопливо поднялся на высокое крыльцо, включил свет. По-хозяйски осмотрел облупившуюся на перилах краску, заметил прогнившую нижнюю ступеньку: «Займусь в следующий приезд».

Генка, войдя в предбанник, поначалу задохнулся лесными ароматами. На столике дымилась кринка с парным молоком, другая, прикрытая новеньким цветастым полотенцем, источала хлебный дух свежего кваса. Из пузатого эмалированного чайника пахло душицей и мятой.

В переднем углу в большом ведре с водой стоял огромный букет осенних цветов впер-

межку с ветками осины и кедра. «Бабуля расстаралась. А ничего — круто», — подумал он и, не дожидаясь парней, стянул с себя несвежую одежду. Широкую спортивную куртку свернул рулетом, положив вниз под брюки, чтобы ушлые Пашка с Валеркой не заметили «ствол», с которым никогда не расставался: «О нем пацаны не знают и не должны знать».

Алюминиевые тазики сверкали чистотой. Он выбрал самый большой и нырнул в парную.

Друзья ввалились весело, с прибаутками. Включили японскую спидолу с записью группы «Битлз». В просторном предбаннике от громяющей музыки, молодых крепких тел стало тесновато.

Вмиг раздевшись, парни наперегонки рванули в парную на полук. «Птенцы! Щебечут и не чуют своего последнего дня», — удовлетворенно отметил Хорьков.

15.

Вечерело. Ефросинья тихо подошла к тяжелой, разбухшей от сырости банной двери. «Не замешкаться бы мне. До участкового идти неблизко». И подперла дверь тяжелым ломом.

Мельком взглянула на высокие, почти под крышей, узкие оконца в предбаннике и в бане, обитые, на случай лесных «клиентов», поверх стекла металлической решеткой. «Через них и головы не просунуть. Стало быть,

надежно заперла их до прихода участкового». Сунув под язык валидол, быстрым шагом, насколько позволяли ей силы, направилась в село.

Участковый оказался на месте. В коридоре толпились деревенские парни, собравшиеся на дежурство. Поздоровалась, представилась. Он назвался Евгением Богдановичем Бесовым. Не местный.

Ефросинья смутилась: «Не сын ли того Богдана Бесова? Вот так встреча!». И вместо того, чтобы скорее рассказать о цели прихода, села на стул, терпеливо дожидаясь, пока тот инструктировал парней. «Зачем берут в милицию такой мелкий народ, как Евгений Богданович? Разве рослые мужики перевелись в Сибири? Под силу ли ему эта служба? Может, к нам не один пойдет да с ружьем?». И тут спохватилась. Ребята начинали расходиться.

— Я с такой бедой к вам, — вместе с Бесовым вошла в его кабинет. Рассказала о своих подозрениях, подпертой двери. Он внимательно, настороженно слушал, мысленно соотносил её информацию с содержанием часом раньше полученной из РОВД ориентировки. «Женщина пожилая, солидная. Напраслину не наведет. Подслушанный, толково переданный ею разговор парней на сеновале не оставляет сомнений в серьезности ситуации. Жаль, откровенной беседы с Ефросиньей Ивановной не могу себе позволить, чтобы она

каким-либо неосторожным действием не испугнула «гостей».

Из ориентировки он знал о готовящейся масштабной операции по задержанию членов банды Кабана в офисе «Виват», в лесной засаде и в Спасском. Задействованы силы РОВД, краевого ОМОНа и прокуратуры. План операции засекречен. Бесов взглянул на часы.

«К полуночи омонцовцы с опергруппой придут в село и повяжем опасного уголовника, бандита Геннадия Хорькова в доме Красных».

— Неужели и внук с бандитом заодно? — не сдержавшись, сочувственно спросил Бесов.

— Не знаю. Разберетесь сами. Пойдемте скорее, пока они не выбрались из бани. Не доведи Господи свершиться беде. Не могу я допустить, чтобы внук мой в кровавое дело встрял, себя испоганил и фамилию запятнал.

— А оружия у них не видели?

— Нет, милоч, при мне не вынали.

— Не беспокойтесь. Отоприте их. О том, что были у меня, — ни-ни! А завтра спокойненько во всем разберемся, примем меры. — Бесов уже не знал, куда прятать глаза от уничтожающего взгляда Ефросиньи Ивановны.

— Какое завтра! Они рано утром собираются уехать. Ой, упустите их, Евгений Богданович! И натворят они в лесу беды горькой. Невинных погубят, лихоимцы проклятые. Да как же так можно работать? «Завтра»! — пе-

редразнила она Бесова, резко поднялась и почти бегом выбежала на улицу.

«Ничего, пока доберется до своего медвежьего угла, поостынет, успокоится. Ближе к ночи возьмем их тепленькими» — Бесов заторопился с помощниками на дискотеку.

16.

Парни парились, пили душистый чай, обтирались им и снова парились. У всех было отличное настроение.

В очередной раз сидели за столом, балагурили, допивая кринку молока. Валерий возьми да скажи Генке:

— Придем в дом, поблагодари Ефросинью Ивановну за гостеприимство, за добрую баньку, за материнскую заботу о нас. Ей будет приятно.

— Еще чего! Она меня за лоха держит. Глядит, как на врага народа, а ей буду бисер метать. Не по моему чину это. Хватит ей и моего вежливого молчания. Это надо понимать, шантрапа ученая! — взбесился и сразу перешел на такой крик Генка, словно на него ушат холодной воды вылили.

Павел, помня о серьезности предстоящего дня, решил загасить искру наметившейся ссоры. Он дружелюбно дотронулся до его спины и заискивающе спросил: не поддать ли еще парку? По той же причине, наверное, и Генка примирительно буркнул:

— Почему бы и нет?

Валерий соскочил с полка, собрал веники и утопил их на минуту в ушате. Потом шутливо и торжественно подал по венику Хорькову и Павлу. А сам выскочил в предбанник, черпнул ковш кваса и плеснул его на еще пышущую жаром каменку. Парная наполнилась аппетитным запахом испеченного на поду хлеба.

Вновь принялись нещадно хлестать себя вениками из смолистой пихтушки, фыркая, ухая и размахивая во все стороны руками.

Вдруг парная взорвалась бешеным криком Хорькова: Валерий невзначай концом веника ткнул Генке в глаз, серьезно поранив его. Он мгновенно залился кровью.

И тут началось! Хорьков изо всей силы толкнул в спину Парфенова. Тот от неожиданности не удержал равновесие, слетел со скользкого полка на пол и врезался головой в каменку. Наверное, прикусил язык или выбил передние зубы, потому что изо рта хлынула кровь. Павел взревел, видя друга в таком состоянии:

— Ты что, гад, делаешь?! Приехал в мой дом и строишь из себя пахана! Думаешь, не знаю, кто «санитарит» в вашей волчьей стае? Теперь вот над нами вороном кружишься. Уйди, чтобы не видел тебя! Знаешь ведь: врежу — подохнешь! Лети в предбанник, промой свой глаз травяным настоем. Мы на ринге и не такие удары выдерживали, а ты... Сморчок!

Он снял с полка распаренного докрасна обидчика и вытолкнул его в предбанник.

Положив друга на широкую лавку, наклонился над ним, стал смывать с лица и шеи сгустки крови. Валерий пришел в себя.

— её-мое!

Присев к тазику с холодной водой, пытался прополоскать разбитый рот.

— Приляг. Кровь хлестать не будет.— Павел намочил полотенце, положил ему на лицо.

Из предбанника вихрем влетел Хорьков.

— Перестреляю, как котят! Лохи проклятые!

Уверенный в своей силе Павел не обратил на психа никакого внимания, лишь мысленно отметил: «Хорошо, оружия у него нет...». Он по-прежнему стоял к Хорькову спиной. Валерий лежал на полу, прикрытый другом. В этот миг раздался выстрел. Павел на секунду замер и, не успев ничего сказать, упал.

Валерий мгновенно вскочил и ринулся на Хорькова, тот успел выстрелить. Пуля прошила Парфенова где-то у самого сердца. Ухватившись за Генкины плечи, он повис на убийце. Голова кружилась, стены и потолок менялись местами. Горела огнем грудь, но ему хватило сил заломить Генкину руку с пистолетом за спину и не дать убийце выстрелить в третий раз. Потом Валерий обмяк и всей массой атлета повалился на тщедушного бандита. Хорьков ударился о край лавки головой, и пистолет выскользнул из его руки. Валерий, собрав

последние силы, накрыл оружие ногой и сжал бандиту горло. Тот извивался угрем, пытаясь выскользнуть из рук боксера.

Обескровленный, Парфенов стремительно терял силы, но жизнь неохотно отпускала в небытие молодое тело. Он продолжал бороться с Хорьковым, хотя тот уже был сильнее его.

Генка, наконец, вырвался и пулей вылетел в предбанник: «Поскорее добраться до машины, и я спасен от тюряги!».

Валерий потерял сознание и упал рядом с Павлом.

Хорьков навалился на дверь, но та не поддалась. «Прилипла что ли?» — обмер он. В нервном припадке, неестественно, по-звериному, он начал бросаться из угла в угол предбанника и биться о дверь. Не открылась! Тогда Генка начал таранить её с разбега. Бесплезно.

Избив тело в кровь, обессилев, понял, что она, подперта снаружи, уже никогда для него не откроется. Вскинул залитые потом и кровью глаза к маленькому зарешеченному оконцу.

— Ах, ты, старая тварь! Урою всех, но живьем не дамся! — Бандит по-прежнему метался, утробно рычал и матерился. Неистовый рев загнанного зверя на минуту привел в сознание Валерия. Он наткнулся рукой на пистолет. Поднял руку. Выстрелил.

В этот миг Хорьков еще раз пробовал руками, всем телом раскатать дверной косяк. Но пуля настигла его. Он дернулся вперед, пауком распластался на простенке и рухнул вниз.

— Сдохни, гад, сдохни! — предсмертных слов парня никто не слышал. Но ему на мгновение стало легче.

17.

Сумерки сгущались, стирая, поглощая и сокращивая тайгу в чернильный цвет. Похолодало. Легкий туман забелил, обесцветил догорающее закатом небо. Чем ближе Ефросинья подходила к дому, тем отчетливее слышала дыхание встревоженного Енисея и недобрые завывания зарождающегося в выси Саян ветра. Лесное эхо дополняло их таинственными звуками приближающейся ночи.

Ефросинья возвращалась домой, потеряв надежду на спасительную помощь участкового. Ревела в голос, кричала. Ей хотелось ругаться самыми грязными, плохими словами. Но сдержала себя, хотя память сохранила их — слова отчаяния, беспросветности и падения души.

На лесоповалах все сквернословили. Особенно изощрялись «химики», давно потерявшие себя мужики, без веры, слабые духом и телом. За сорокалетнюю работу бок о бок с ними Ефросинья не взяла такого греха на душу. Люто ненавидела людское безвольное грехопадение. Уговаривала, умоляла, просила му-

жиков очистить языки от сатанинской скверны. Но ничего добром так и не добившись, не раз лишала их премии за матершину. А теперь вот сама чуть не сорвалась на мат.

«До чего дожила! И все из-за власти бандитской! Нигде правды не сыщешь. Недокормыш! При погонах, чине и обязанностях пальцем не хочет пошевелить. Лупится цыганскими глазищами то в потолок, то в пол, а в лицо не глядит, оборотень. Проклятый! Вот злыдни, рогачи бесовские навязались на нас. До завтра, видите ли, ему и дела нет. Никак с бандитами заодно? Не ново, не раз слыхивала про такое по телевизору. Позор-то какой! Некому беду мою развести».

Обессиленная и растерянная, отыскала хорошо знакомый ей большой черный пенёк в придорожном ельнике. Тяжело опустилась на него и сорвала несколько сочных ягодок с цепляющейся за стебельки трав и шероховатости пня клюквиной плети. Смотрела на угасающее в закатных лучах небо и замершие в безветрии макушки деревьев. Прислушивалась к угрюмой тишине леса.

«В горах уже ветрено, скоро и до низов дойдет». её давило горе. «Паша, Паша! Что же ты натворил со мной? Перед каким лихом на колени поставил!».

Встала. «А идите вы все! Чертовы защитнички... с рожками. Сама, как смогу, справлюсь».

Слезы душили её, жарким комом застревая в горле. Всхлипывая, держалась она за горя-

щее в груди сердце. Походка отяжелела, стала медленной, нетвердой. Дойдя до забора, Ефросинья повисла на нем, едва отдышалась.

До бани оставалось менее сотни шагов.

Подойдя к ней, наконец, прислушалась. Ничего не слышно из-за грохочущей музыки. «Лом на месте, но уже вошел острием в половицу. Значит, пытались выйти. Но не стучатся. Видать, снова парятся. Что же сделать? Как кровинку мою от смертного греха уберечь?».

Она зашла в бывшую кузницу, где с дедовых времен хранились огородный инвентарь и керосин для заправки фонарей.

Взяла трехлитровую бутылку и отнесла к бане. «А ветер-то как разгулялся, беснуется, аж пихтушки наземь клонит. Непогодушка по рукам вяжет. Так и лес, и село безвинное недолго спалить. Вот и дружок мой растревожился, шишки вокруг себя кидает. Не все, видать, Павлушка собрал. Да о чем я, до шишек ли. Как быть, делать-то что?!».

Она попыталась достать коробок. По давней таежной привычке носила их по несколько в карманах юбки. Но ветер неистово рвал на ней одежду, задирали вверх парусами, не давая возможности добраться до спичек.

Ефросинья едва держалась на ногах. её душа была переполнена безмерной любовью, болью и тоской. «Павлушка, Павлушка!».

Вдруг ветер стих, только сильно качнулись верхушки пихтушек у забора. Откуда-то ей явно послышался мужской говор. Она огляде-

лась по сторонам. В густых сумерках, наполнивших непроглядной темнотой шумевшую многоголосьем тайгу, никого не увидела.

«Показалось».

Вновь налетевший «саянец» уже сбивал её с ног.

И тут словно какая-то неведомая сила подхватила грузное тело Ефросиньи, пронесла через тёмное подворье и бросила на траву у кедра. Она успела ухватиться трясущимися от страха руками за его нижние ветви. Очнулась под кедром. «Знаю, кедрушка, стережешь меня от греха смертного. Всю округу взбеленил. Ишь, как тайга-любущка бунтуется. А взял бы, дружок, и помог — гибкими да могучими лапами повязал бы бесноватых. Так нет! Чужими руками легко жар загребать. Взвалили на меня нечисть окаянную. У края пропасти поставили. Гореть теперь на кострах адовых. А как иначе? Если не я, то кто? Нет, уж решено — не отступлюсь. Не дам дьявольскому роду-племени людьми хороводить, божьего света лишать. Мне, видать, конец, не жилища я. Все живое когда-то умирает. Выпала Фросеньке горькая судьбинушка. И в закатный день Бог не милует. Испытывает дух, да еще как! Внука на весы жизни моей поставил. Какой тут выбор, если он в душегубы записался? Вот отдохну малость, помолюсь, да и свершу дело — последнее, страшное, грешное. Окромя меня, некому. А ты, кедрушка, прощай и не обессудь...».

То ли новый порыв ветра свалил Ефросинью на землю, то ли, обессилев, сама повалилась, уткнулась ничком в ствол раскачивающегося, ревающего кедра.

18.

Дискотека в клубе гудела, сверкала плывущими по стенам навстречу друг другу разноцветными круговыми всполохами. В штормовом море огней и музыки было уютно и весело. Пьяных парней развели по домам, и в танцевальном зале воцарились расслабляющие мелодии, ритмика да искрометные кострища бесконечно молодых глаз.

Бесов, распрощавшись с помощниками, поспешил в опорный пункт. Там его уже ожидали омовцы, опергруппа и медики. Участковый рассказал им о приходе Красиной.

— Напрасно ты её отпустил в таком состоянии. Она может по-своему всё истолковать. — Командир омовцев капитан Корольков принял решение срочно начать операцию по обезвреживанию Хорькова.

Под покровом ночи милицейская «газель» беззвучно остановилась у парадных ворот красинского дома, рядом с Генкиным «Лэнд Крузером». Подбежав к бане, омовцы увидели подпертую ломом дверь и бутылку с какой-то жидкостью. Бесов вынул пробку.

— Керосин. Так вот какое решение приняла Ефросинья Ивановна из-за моей глупости, — повинился он омовцам.

Осторожно убрал лом, глубоко вдавленный острием в половицу крыльца. «Кажется, уже прикладывали силушку». Баня содрогалась от резкого ветра и гремящего рока.

— Поведем всех троих. Следователи разберутся, кто прав, кто виноват. Без моего приказа не стрелять! Берем внезапно и натиском. Ну, с Богом! — уверенным баском приказал Корольков.

Бесов рывком открыл дверь и замер на пороге.

Три не подающих признаков жизни тела в лужах собственной крови. Он прошел к столику. Выключил спидолу. Увидев разбитые до неузнаваемости лица двух молодых парней и лежащего ничком юношу богатырского сложения, представил разыгравшуюся здесь трагедию. «Тут есть над чем поразмышлять следователям».

Бесов вспомнил о Ефросинье Ивановне: «Где она? Надо бы её подготовить».

Омоновцы осматривали баню. Корольков наклонился над парнем с раной под левой лопаткой, слегка приподнял его голову, отметив, какое у него красивое, чистое, не тронутое побоями лицо.

— Врача сюда! Он в «газели». Кажется, этот парень без сознания. Дышит. Давай, быстро! — приказал Корольков.

Участковый не успел добежать до ворот, как увидел, что группа следователей, зам.

прокурора и врач уже торопливо шли ему навстречу.

— Там такое! Один из них жив. Поторопитесь, а я поищу Ефросинью Ивановну.

Дом на замке. Сарай тоже. Тщательно осмотрел кузнецу, летнюю кухню. Под тулупом нашел кейс.

Вышел на подворье, обошел по периметру забор и, подумав, не ушла ли она опять в село, направился к парадным воротам. Дойдя до середины подворья, остановился у развесистого кедра. Вынырнувшая из-за туч луна высветила неподвижно лежащую, словно спящую Ефросинью Ивановну.

...Село гудело, растревоженное небывалым трагическим событием. Говорили с любовью о Ефросинье Ивановне. С сомнением о Павле. «Чужие» их не касались, да и что о них говорить-то?

По заключению следователей, Павел был первым пострадавшим от рук убийцы. Хорьков тяжело ранил его. Но Красин будет жить.

Его друг Валерий Парфенов применил чужое оружие, применил последним. Очевидно, в целях самозащиты. Перед людьми и судом он не убийца.

На похороны собрались селяне от мала до велика.

— Ушла от нас Фрося-Ефросинья. До последнего дня цены ей никто не знал. Суетимся все. А была она чистой росинкой... — подступивший к горлу комок не давал Селину гово-

рить. Откашлявшись, не стыдясь и не вытирая обильно хлынувших по щекам слёз, продолжил:

— Была мудрой и сильной. Такой и храните её в памяти. Не она бы да её внук Павел Богданович Красин, лежать бы нам здесь перед вами с Дмитрием Петровичем. И еще двум нашим женщинам...

Ефросинью похоронили рядом с матерью, Полиной Красиной. В Спасском о Павле никто и никогда теперь не скажет худого слова.

Содержание

Игнат	3
На дальнем зимовье	55
Фрося-Ефросинья	119

БУЛЕВИЧ
Тамара Анатольевна

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
Повести

Редактор Ю. Вихров
Корректор В. Ананина
Техредактор А. Поляков

Сдано в набор 14 марта 2008 г.
Подписано в печать 4 апреля 2008 г.
Формат 70x90 1/32. Объем 12,5 п.л.
Тираж 500 экз. Бумага офсетная.

Издатель — Независимое литературное агентство
(«Московский Парнас»)
123995, М., Поварская ул., 52, оф. 23,
тел. 291-6341)